БИБЛИОТЕКА КОММУНИСТА
ПОД РЕДАКЦИЕЙ Д. РЯЗАНОВА

Г. В. ПЛЕХАНОВ

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ МАРКСИЗМА

КООПЕРАТИВНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
» МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ «

МОСКОВСКИЙ КОМИТЕТ Р. К. П.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Г. Плеханов

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ МАРКСИЗМА

ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ

КООПЕРАТИВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
«МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»
МОСКВА—1922

Отпечатано в Типографии
Моск. Уездного Совета,
Садовая-Сухаревая, № 9;
в количестве 10000 экз.
Москва, Главлит. № 2300

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА.

„Основные вопросы марксизма" — последняя работа Плеханова, дающая систематическое изложение диалектического материализма—вышла еще в 1908 году, через четверть века после того, как Плеханов выпустил в свет свой знаменитый памфлет „Социализм и политическая борьба", которым открывается история российской революционной социал-демократии.

Вышедшая в 1883 году, брошюра знаменовала собою полный разрыв со старыми народническими предрассудками, она указала разбитому революционному движению новый путь, на котором его ожидала не скорая, но верная победа; в самой российской действительности указала она тот процесс социально-экономического развития, который медленно, но упорно подкапывал старый режим; она предсказала, что развивающийся с такой же неизбежностью, как и капитализм, русский рабочий класс нанесет смертельный удар русскому абсолютизму и войдет равноправным членом в ряды международной армии пролетариата.

Но Плеханов не ограничился только критикой старого народничества: в блестящем очерке, который до сих пор еще сохраняет все свое значение, он дал изложение „Основных вопросов" научного социализма и указал на метод диалектического материализма, как на самое надежное оружие в теоретической и практической борьбе.

„Что такое научный социализм? Под этим именем мы разумем то коммунистическое учение, которое начало вырабатываться в начале сороковых го-

дов из утопического социализма под сильным влиянием гегелевской философии, с одной стороны, и классической экономии—с другой: то учение, которое впервые дало реальное об'яснение всему ходу развития человеческой культуры, безжалостно разрушило софизмы теоретиков буржуазии и „во всеоружии знания своего века" выступило на защиту пролетариата. Это учение не только с полною ясностью показало всю научную несостоятельность противников социализма, но, указывая ошибки, оно в то же время давало им историческое об'яснение и, таким образом, как сказал некогда Гайм о философии Гегеля, „привязывало к своей триумфальной колеснице каждое побежденное им мнение".

„Как Дарвин обогатил биологию поразительно простой и вместе с тем строго-научной теорией происхождения видов, так и основатели научного социализма показали нам в развитии производительных сил и в борьбе этих сил против отсталых „общественных условий производства великий принцип изменения видов общественной организации".

Но не как шаблон, не как „окончательную истину в последней инстанции" рекомендовал Плеханов систему научного социализма русским революционерам. „Само собой разумеется—писал он—что развитие научного социализма еще не закончено и так же мало может остановиться на трудах Энгельса и Маркса, как теория происхождения видов могла считаться окончательно выработанной с выходом в свет главных сочинений английского биолога. За установлением основных положений нового учения должна последовать детальная разработка относящихся к нему вопросов, разработка, дополняющая и разрешающая переворот совершенный в науке авторами „Коммунистического манифеста". Нет ни одной отрасли социологии, которая не приобрела бы нового и чрезвычайно обширного поля зрения, усваивая их философско-исторические взгляды. Благотворное влияние этих взглядов и теперь уже начинает сказываться в области истории права и так-называемой „первобытной культуры".

Плеханов считает необходимым уже подчеркнуть и следующую особенность излагаемого им учения. „Ведя свою родословную, между прочим, от „Канта и Гегеля", научный социализм является тем не менее самым смертельным и решительным противником идеализма. Он изгоняет его из его последнего убежища—социологии, в которой его принимали с таким радушием позитивисты. Научный социализм предполагает „материалистическое понимание истории", т.-е. об'ясняет духовную историю человечества развитием его общественных отношений (между прочим, под влиянием окружающей природы)".

Упорная работа по созданию революционной партии пролетариата, необходимость применить новый метод в разработке конкретных задач русской действительности, к исследованию „судеб капитализма в России"—все это не мешало Плеханову, на ряду с напряженной практической деятельностью, работать и над „детальной разработкой" основных вопросов марксизма, все больше сосредоточиваясь на истории философии, культуры и искусства. Одновременно с этой самостоятельной работой в области дальнейшего развития взглядов Маркса и Энгельса, Плеханов продолжает отстаивать эти взгляды против различных представителей русского и интернационального ревизионизма, который каждый раз делает попытку „дополнить" или „исправить" или „заменить" некоторые положения марксизма старыми давно отжившими буржуазными „догмами".

Перепечатываемая теперь в „Библиотеке Коммуниста" работа Плеханова посвящена главным образом философско-исторической стороне научного социализма. Марксизм для него целое миросозерцание, проникнутое единством основной идеи, единое и нераздельное. Плеханов протестует против новых попыток—Богданова, Луначарского, Базарова, Фриче—отделить историческую и экономическую сторону этого миросозерцания от его философского обоснования, против всех этих попыток заново „обосновать марксизм", путем соединения его—чаще

всего под влиянием философских настроений, являющихся модными в данное время, между идеологами буржуазии—с той или другой философией: с неокантианством, с махизмом, с эмпириокритицизмом и т. д. и т. п.

Материализм Маркса и Энгельса, по мнению Плеханова, которое он впервые высказал в своей полемике против Бернштейна, основывается на спинозизме, который был Фейербахом освобожден от всех его теологичетких примесей. Как и Фейербах, основоположники научного социализма признавали единство, но не тожество мышления и бытия. Поправки, внесенные Марксом в философию Фейербаха, заключались главным образом в том, что он взглянул на взаимодействие между об'ектом и суб'ектом именно с той стороны, с которой суб'ект выступает в активной роли, как действующее, а не только созерцающее существо.

„Действуя на природу вне его и изменяя ее, человек вместе с тем изменяет и свою собственную природу".

Плеханов совершенно верно указывает, что на Маркса очень сильное влияние оказала статья Фейербаха—„Предварительные тезисы для реформы философии"—появившаяся в 1843 г. и, прибавим, во втором томе того сборника, в первом томе которого появилась статья Маркса о прусской цензуре (Anecdota).

„Мышление обусловливается бытием, а не бытие мышлением. Бытие обусловливается самим собою... имеет свою основу в самом себе". Этот взгляд—прибавляет Плеханов—положен Марксом в основу материалистического понимания истории.

Это не совсем точно. Маркс коренным образом видоизменил и дополнил тезис Фейербаха, который так же абстрактен, так же мало историчен, как и его человек, которого он поставил на место бога и его гегелевской модификации—разума. „Человеческое существо не есть нечто абстрактное, присущее отдельному индивиду". В своей действительности—говорит Маркс в известных тезисах о Фейер-

бахе—это существо есть совокупность общественных отношений. „Именно потому, что Фейербах не доходит до этого вывода, он вынужден абстрагироваться от хода исторического развития... и исходить из предположения об отвлеченном, изолированном, человеческом индивиде".

В полном согласии с этой критикой абстрактного человека Фейербаха, Маркс видоизменяет и его основной тезис: „Не сознание людей обусловливает их бытие, а наоборот их общественное бытие определяет их сознание". И до сих пор еще основной ошибкой всех философских систем, пытающихся об'яснить отношение между мышлением и бытием, является игнорирование того же самого обстоятельства, которого не видел и Фейербах, а именно, что „абстрактный индивид, анализируемый ими, в действительности принадлежит определенной форме общества".

Еще в первых своих работах Плеханов неоднократно подчеркивал отличие диалектического метода Маркса и Энгельса от вульгарной теории эволюции, с ее принципом, что ни природа, ни история не делают скачков, что все в мире изменяется лишь степенно и постепенно. В своей полемике против Тихомирова, превратившегося из революционера в реакционера, Плеханов раз'ясняет „новому защитнику абсолютизма" неизбежность скачков в процессе развития. Мы перепечатываем в приложении и эти яркие страницы тем более, что сам Плеханов ссылается на свою старую брошюру, теперь мало доступную.

Особенно интересную часть работы Плеханова составляют те ее главы, в которых он показывает, как „современные исследователи",—чаще всего, не сознавая этого—вынуждаются всем современным состоянием общественной науки давать материалистическое об'яснение, изучаемых ими явлений. Каждое новое исследование в области истории культуры, мифологии, искусства, доставляет новые доводы в пользу материалистического понимания истории. Плеханов мог бы и для 1908 г.—прибавить к перечню исследований, на которые он ссылается,

многочисленные работы и других буржуазных исследователей—в области исторических и социологических наук—которые говорят прозой, не зная этого; которые, камень за камнем, собирают материалы и факты, подтверждающие правильность философско-исторических взглядов марксизма.

Несколько слов о настоящем издании. В приложении мы, кроме отрывка о „скачках", даем статью Плеханова „О роли личности в истории", а также большую выдержку из его предисловия к брошюре Энгельса о Фейербахе. Согласно желанию Плеханова, эти замечания о диалектике и логике введены были в текст, вышедшего в 1910 г. немецкого перевода его книжки. Затем, читатель найдет ряд новых примечаний, сделанных Плехановым для этого перевода. С своей стороны мы прибавили несколько пояснительных заметок и дополнили, где это было нужно, даваемые Плехановым указания на литературу.

Д. Рязанов.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ МАРКСИЗМА.

Марксизм, это—целое миросозерцание. Выражаясь кратко, это—современный материализм, представляющий собою высшую в настоящее время ступень развития того взгляда на мир, основы которого были заложены еще в древней Греции Демокритом, а отчасти и предшествовавшими Демокриту ионийскими мыслителями: так называемый гилозоизм есть не то что иное, как наивный материализм. Самая главная заслуга в разработке современного материализма принадлежит, без всякого сомнения, Карлу Марксу и его другу Фридриху Энгельсу. Историческая и экономическая стороны этого миросозерцания, т.-е. так называемый исторический материализм и тесно связанная с ним совокупность взглядов на задачи, метод и категории политической экономии и на экономическое развитие общества, в особенности же капиталистического, являются в своих основаниях почти исключительно делом Маркса и Энгельса. То, что внесено было в эти области их предшественниками, должно быть рассматриваемо лишь как подготовительная работа собирания материала, подчас обильного и драгоценного, но еще не систематизированного, не освещенного одной общей мыслью и потому не оцененного и не использованного в своем истинном значении. То, что сделано было в тех же областях последователями Маркса и Энгельса в Европе и Америке, представляет собою лишь более или менее удачную разработку отдельных, правда, иногда в высшей степени важных вопросов. Вот почему не только в „широкой публике", до сих пор никогда еще не дораставшей до глубокого понимания философских учений, но даже

и в среде людей, считающих себя верными последователями Маркса и Энгельса, и притом не только в России, но и во всем цивилизованном мире, термином „марксизм" часто обозначаются именно только две, только что указанные нами стороны современного материалистического миросозерцания. Эти две его стороны рассматриваются в таком случае как нечто совершенно независимое от „философского материализма" и чуть ли не противоположное ему. А так как эти две стороны, произвольно вырванные из общей совокупности родственных им и составляющих их теоретическое основание взглядов, не могут же висеть в воздухе, то у людей, совершивших над ними операцию вырывания, естественно возникает потребность заново „обосновать марксизм", соединив его,—опять-таки совершенно произвольно и чаще всего под влиянием философских настроений, господствующих в данное время между идеологами буржуазии,—с тем или другим философом: с Кантом, с Махом, с Авенариусом, с Оствальдом, а в последнее время с Иосифом Дицгеном. Философские взгляды И. Дицгена возникли, правда, вполне независимо от буржуазных влияний и в значительной степени родственны философским воззрениям Маркса-Энгельса. Но эти последние обладают несравненно более стройным и богатым содержанием и уже по одному этому не могут быть дополнены, а могут быть, пожалуй, отчасти популяризованы, с помощью учения Дицгена. До сих пор не было сделано попытки „дополнить Маркса" Фомою Аквинским. Но нет ничего невозможного в том, что, несмотря на недавнюю энциклику папы против модернистов, католический мир выдвинет когда-нибудь из своей среды мыслителя, способного на этот теоретический подвиг.

I.

Необходимость „дополнения" марксизма тем или другим философом доказывается обыкновенно ссылкою на то, что Маркс и Энгельс нигде не изложили своих философских воззрений. Но такая ссылка мало убедительна. Не говоря уже о том, что если бы эти воззрения и в самом деле остались совершенно неизложенными, то это еще не давало бы никакого логического основания для замены их взглядами первого встречного мыслителя, по большей части стоящего на совершенно другой точке зрения. Нужно помнить, что мы имеем достаточно литературных данных для составления себе правильного понятия о философских взглядах Маркса-Энгельса [1]).

Взгляды эти были в своем окончательно сложившемся виде изложены довольно полно, хотя и в полемической форме, в первой части книги Энгельса „Herrn Eugen Dühring's Umwälzung der Wissenschaft" (есть несколько русских переводов). В замечательной брошюре того же автора. „Ludvig Feuerbach und der Ausgang Klassischen deutschen Philosophie" (переведена нами на русский язык и снабжена предисловием и пояснительными примечаниями; издана г. Львовичем), взгляды, составляющие философскую основу марксизма, изложены уже в положительной форме. Краткую, но яркую характеристику тех же взглядов, в их отношении к агностицизму, Энгельс дал в предисловии к английскому переводу брошюры „Развитие научного социализма" (переведено на немецкий язык и напечатано под заглавием: „Ueber den historischen Materialismus" в „Neue Zeit", №№ 1 и 2, 1892—1893 гг.). Что касается Маркса, то для понимания философской стороны его учения в высшей степени важны, во-первых, характеристика мате-

---

[1]) Философии Маркса-Энгельса посвящена работа г. Вл. Вериго: Marx als Philosoph. Bern und Leipzid, 1904. Но трудно вообразить себе что-либо менее удовлетворительное.

риалистической диалектики,—в ее отличии от идеалистической диалектики Гегеля",—в предисловии ко второму изданию I тома „Капитала", во-вторых, многие отдельные замечания, мимоходом высказнные в том же томе. Весьма существенными в известных отношениях являются также некоторые страницы в „Misère de la philosophie" (есть русский перевод). Наконец, процесс развития философских взглядов Маркса-Энгельса с достаточной ясностью обнаруживается в их ранних произведениях, вновь изданных Ф. Рингом под заглавием: „Aus dem literarischen Nachlass von Karl Marx" и т. д. Stuttgast, 1902.

В своей диссертации „Differenz der demokritischen und epikureischen Naturphilosophie" [1]), равно как и в некоторых статьях, перепечатанных Рингом в первом томе названного издания, молодой Маркс является перед нами еще чистокровным идеалистом Гегелевой школы; в статьях же вошедших теперь в тот же том и появившихся первоначально в „Deutsch - Französischen Jahrbüchern" он, а также и сотрудничавший в тех же „Jahrbücher" Энгельс, твердо стоит уже на точке зрения Фейербахова „гуманизма". Вышедшая в 1845 г. и перепечатанная теперь во втором томе Рингова издания книга „Die heilige Familie oder Kritik der kritischen Kritik", показывает нам обоих своих авторов, т.-е. и Маркса и Энгельса, делающими несколько значительных шагов в смысле дальнейшей разработки философии Фейербаха. В каком направлении предпринята была ими эта разработка, видно из тех одиннадцати тезисов о Фейербахе, которые были написаны Марксом весною 1845 г. и напечатаны Энгельсом в приложении к вышеназванной брошюре „Л. Фейербах". Словом, в материале тут недостатка нет,—нужно только уметь пользоваться им, т.-е. нужно быть подготовленным к его пониманию. Современные же читатели как раз и не подготовлены к его пониманию, а потому и не умеют им пользоваться.

1) См. Т. Гомперца: Les penseure de la Grèce, trad par Aug. Reymond. Lausanne, 1905, tome II, pp. 414—415.

Почему это происходит? По многим причинам. Одной из самых главных является то, что теперь чрезвычайно мало распространены во-первых, *знание Гегелевой философии*, без которого трудно усвоить метод Маркса, во-вторых, *знакомство с историей материализма*, отсутствие которого не позволяет современным читателям составить себе ясное представление об учении Фейербаха, бывшего непосредственным философским предшественником Маркса и, в значительной степени, выработавшего философскую основу того, что можно назвать миросозерцанием Маркса-Энгельса.

„Гуманизм" Фейербаха обыкновенно изображается теперь как нечто весьма неясное и неопределенное. Ф. А. Ланге, вообще очень сильно содействовавший в „широкой публике" и в ученом мире распространению совершенно неправильного взгляда на сущность материализма и на его историю, совсем отказывается признать „гуманизм" Фейербаха материалистическим учением. Примеру Ф. А. Ланге следует в этом отношении почти все, писавшие о Фейербахе в России и за границей. Не избежал, как видно, его влияния и П. А. Берлин, который изображает Фейербахов „гуманизм" каким-то не „чистым" материализмом [1]). Признаемся, нам не совсем ясно, как смотрит на этот вопрос Фр. Меринг, лучший едва ли, впрочем, и не единственный знаток философии между германскими социал-демократами. Но зато нам совершенно ясно, что Маркс и Энгельс видели в Фейербахе именно материалиста. Правда, Энгельс указывает на непоследовательность Фейербаха; но это нисколько не мешает ему признавать *основные положения* его философии *чисто материалистическими*. Да иначе и не может смотреть на эти положения человек, давший себе труд хорошо изучить их.

---

1) См. его интересную книгу «Германия накануне революции 1848 г.» Спб., 1906, стр. 228—29

II.

Говоря все это, мы прекрасно знаем, что мы очень сильно рискуем удивить многих и многих из наших читателей. Но мы не боимся этого, ибо прав был древний мыслитель, сказавший, что удивление есть мать философии. А чтобы наши читатели не остались, так сказать, на стадии удивления, мы им прежде всего порекомендуем спросить себя, что собственно хотел выразить Фейербах, когда, набрасывая в немногих, но ярких словах свой философский curriculum vitae, он писал: „Бог был моей первой мыслью, разум — второю, а человек — третьею и последнею". Мы утверждаем, что этот вопрос безапелляционно решается следующими многознаменательными словами того же Фейербаха: „В споре между материализмом и спиритуализмом речь идет о человеческой голове; раз мы узнали, что представляет собой та материя, из которой состоит мозг, мы скоро придем к ясному взгляду и насчет всякой другой материи, насчет материи вообще" [1]). В другом месте он говорит, что его „антропология", т.-е. „гуманизм", представляет собою лишь указание на то, что человек принимает за Бога свою собственную сущность, свой собственный дух [2]). И этой „антропологической" точки зрения не чужд, по его замечанию, уже Декарт [3]). Что же все это значит? Это значит, что Фейербах взял „человека" за отправную точку своих философских рассуждений только потому, что, отправляясь от этой точки, он надеялся скорее прийти к цели, которая состояла в составлении правильного взгляда на материю вообще и на ее отношение к „духу". Стало быть, тут мы имеем дело с методологическим приемом, значение которого обусловливалось обстоятельствами времени и места, т.-е. привычками мысли тогдашних

[1]) Ueber Spiritualismus und Materialismus, Werke, X, 129.
[2]) Werke, IV, 249.
[3]) Там же, та же стр.

ученых и просто образованных немцев [1]), а вовсе не с какой-нибудь особенностью миросозерцания.

Уже из приведенных нами слов Фейербаха насчет „человеческой головы" видно, что в ту пору, когда он писал эти слова, вопрос о „материи, из которой состоит мозг", был им решен в „чисто" материалистическом смысле. И это его решение вопроса было принято также Марксом-Энгельсом. Оно легло в основу их собственной философии, что с самой полной ясностью видно из не раз уже упомянутых нами сочинений Энгельса „Людвиг Фейербах" и „Анти-Дюринг". Вот почему мы должны поближе ознакомиться с этим решением: изучая его, мы будем в то же время изучать философскую сторону марксизма.

В своей статье, „Vorläufige Thesen zur Reform der Philosophie", появившейся в 1842 году и, как это, по всему видно, оказавшей очень сильное влияние на Маркса, Фейербах говорит, что „истинное отношение мышления к бытию есть следующее: бытие — суб'ект, мышление — предикат". Мышление обусловливается бытием, а не бытие – мышлением. Бытие обусловливается самим собою... имеет свою основу в самом себе [2]).

Этот взгляд на отношение бытия к мышлению, положенный Марксом-Энгельсом в основу материалистического об'яснения истории, представляет собою важнейший результат той критики Гегелева идеализма, которая была в главных чертах закончена еще Фейербахом и выводы которой могут быть так изложены в немногих словах.

Фейербах нашел, что философия Гегеля устранила противоречие между бытием и мышлением, выразившееся с особенной выпуклостью у Канта. Но, по мнению Фейербаха, она устранила это проти-

---

[1]) Фейербах сам очень хорошо говорит, что начало всякой философии определяется предшествовавшим состоянием философской мысли.

[2]) Werke II, 263.

воречие, продолжая оставаться внутри его, т.-е. внутри одного из элементов, и именно — мышления. У Гегеля мышление и есть бытие: „Мысль — суб'ект; бытие — предикат“ [1]). Выходит, что Гегель — и вообще идеализм — устраняет противоречие лишь посредством устранения одного из его составных элементов, т.-е. бытия материи природы. Но устранить один из составных элементов противоречия вовсе не значит разрешить это противоречие. „Учение Гегеля о том, что природа „полагается“ идеей, представляет собою лишь перевод на философский язык теологического учения о том, что природа создана Богом, действительность, материя,—отвлеченным, не материальным существом“ [2]). И это относится не только к абсолютному идеализму Гегеля. Трансцендентальный идеализм Канта, согласно которому внешний мир получает свои законы от рассудка, а не рассудок от внешнего мира, находится в самой тесной родственной связи с теологическим представлением о том, что божественный рассудок продиктовал миру его законы [3]) Идеализм не устанавливает единства бытия и мышления и не может установить его; он его разрывает. Исходная точка идеалистической философии,—„я“, как основной философский принцип,—совершенно ошибочна. Точкой отправления истинной философии должно служить не „я“, а „я“ и „ты“. Только эта точка отправления дает возможность прийти к правильному пониманию отношения между мышлением и бытием, суб'ектом и об'ектом. Я есмь я для меня самого и в то же время — „ты“ для другого. Я — суб'ект и в то же время об'ект. И надо заметить, кроме того, что я—не то отвлеченное существо, с которым оперирует идеалистическая философия. Я—существо действительное; мое тело принадлежит к моей сущности, более того—мое тело, как целое, и есть мое я, моя истинная сущ-

---

[1]) Werke, II, 261.
[2]) Ibid., 262.
[3]) Werke, II, 295.

ность. Думает не отвлеченное существо, а именно это действительное существо, это тело. Таким образом, обратно тому, что утверждают идеалисты, действительное материальное существо оказывается суб'ектом, а мышление—предикатом. И в этом и состоит единственное возможное разрешение того противоречия между бытием и мышлением, над которым так тщетно бился идеализм. Тут не устраняется ни один из элементов противоречия, оба они сохраняются, обнаруживая свое истинное единство. „Что для меня, или суб'ективно, есть чисто духовный, нематериальный, нечувственный акт, то, само по себе, об'ективно, есть акт материальный, чувственный“ [1]).

Заметьте, что, говоря это, Фейербах сближается со Спинозой, философию которого он с большим сочувствием излагал уже в то время, когда только еще намечался его собственный разрыв с идеализмом, т.-е. когда он писал свою историю новой философии. В 1843 г. он в своих „Grundsätze“ очень тонко заметил, что пантеизм есть теологический материализм, отрицание теологии, остающееся на теологической точке зрения. В этом смешении материализма с теологией заключалась непоследовательность Спинозы, не помешавшая ему, однако, найти „правильное, по крайней мере, для своего времени, выражение для материалистических понятий новейшей эпохи“. Поэтому Фейербах называет Спинозу „Моисеем новейших свободных мыслителей и материалистов“ [2]). В 1847 г. Фейербах спрашивает: „Чем же оказывается при внимательном рассмотрении то, что Спиноза логически или метафизически называет субстанцией, а теологически—богом?“. И на этот вопрос он категорически отвечает: „Ни чем иным, как природой“. Главный недостаток спинозизма он видит в том, что „чувственная антитеологическая сущность природы принимает у него вид отвлеченного

---

[1]) Werke, 350.

[2]) Werke, II, 291.

метафизического существа". Спиноза устранил дуализм бога и природы, так как об'явил действия природы действиями бога. Но именно потому, что действия природы являются в его глазах действиями бога, бог остается у него каким-то отдельным от природы существом, лежащим в ее основе. Бог представляется суб'ектом, природа—предикатом. Философия, окончательно освободившаяся от богословских преданий, должна устранить этот важный недостаток правильной по своему существу философии Спинозы. „Долой это противоречие!—восклицает Фейербах.—He Deus sive Natura, но aut Deus aut Natura есть природа истины"[1]).

Итак, „гуманизм" Фейербаха сам оказывается ни чем иным, как спинозизмом, освобожденным от его теологической привески. И именно на точку зрения этого спинозизма, освобожденного Фейербахом от его теологической привески, перешли Маркс и Энгельс, когда разорвали с идеализмом.

Но освободить спинозизм от его теологической привески значило обнаружить его истинное материалистическое содержание. Стало быть спинозизм Маркса-Энгельса и был новейшим материализмом.

Далее. Мышление—не причина бытия, а его следствие, или, точнее, его свойство. Фейрбах говорит: „Folge und Eigenschaft". Я ощущаю и мыслю вовсе не как суб'ект, противостоящий об'екту, а как суб'ект-об'ект, как действительное, материальное существо. И об'ект для меня есть не только ощущаемый предмет, но также основание, необходимое условие моего ощущения. Об'ективный мир находится не только вне меня, он также—во мне самом, в моей собственной коже. Человек есть лишь часть природы, часть бытия; поэтому нет места для противоречия между его мышлением и бытием. Пространство и время существуют не только для мышления. Они также—формы бытия. Они—формы моего созерцания. Но они таковы единственно потому, что я сам—существо, живущее во времени и пространстве, и что я ощущаю и чувствую лишь, как такое существо. Вообще законы бытия суть вместе с тем и законы мышления.

Так говорил Фейербах [1]): И то же, хотя иногда и другими словами, говорил Энгельс в своей полемике с Дюрингом. Уже отсюда видно, какая важная часть философии Фейербаха навсегда вошла в философию Маркса-Энгельса.

Если Маркс начал выработку своего материалистического об'яснения истории с критики Гегелевой философии права, то он мог поступить так только потому, что критика спекулятивной философии Гегеля была закончена еще Фейербахом.

Даже критикуя Фейербаха в своих тезисах, Маркс нередко развивает и дополняет его же мысли. Вот пример из области „гносеологии". По словам Фейербаха, человек, прежде чем думать о предмете, испытывает на себе его действие, созерцает его, чувствует. Маркс имеет в виду эту мысль Фейербаха, говоря: „Главный недостаток материализма — до Фейербахова включительно — состоял до сих пор в том, что он рассматривает действительность, предметный, воспринимаемый внешним чувством мир, лишь в форме об'екта или в форме созерцания, а не в форме конкретной человеческой деятельности, не в форме практики, не суб'ективно". Этим недостатком материализма об'ясняется, говорит далее Маркс, то обстоятельство, что Фейербарх в своей „Сущности христианства" рассматривает как истинно человеческую деятельность только деятельность теоретическую. Другими словами это можно выразить так: Фейербах указывает на то, что наше я познает об'ект, лишь подвергаясь его воздействию [2]). Маркс же возражает: наше я познает об'ект, воздействуя на него с своей стороны. Мысль Маркса вполне правильна; еще Фауст сказал: „в начале дело было". Конечно, в защиту Фейербаха можно возразить, что ведь и в процессе нашего воздействия на предметы мы познаем

[1]) Werle, II, 334 и X, 184—186.

[2]) «Dem Denken,—говорит он,—geht das Sein voran, ehe du die Qualität denkst fünlst du die Qualität». (Werke, II, 253). («Мышлению предшествует бытие, прежде чем ты сознаешь качество, ты его ощущаешь»).

их свойства лишь постольку, поскольку они с своей стороны воздействуют на нас. В обоих случаях мышлению предшествует ощущение, в обоих случаях мы прежде ощущаем их свойства, а потом уже думаем о них. Но Маркс этого и не отрицал. Для него дело было не в том неоспоримом факте, что ощущение предшествует размышлению, а в том, что человек побуждается к размышлению главным образом теми ощущениями, которые он испытывает в процессе своего воздействия на внешний мир. А так как это воздействие на внешний мир предписывается ему его борьбою за свое существование, то теория познания тесно связывается у Маркса с его материалистическим взглядом на культурную историю человечества. Не даром тот же самый мыслитель, который направил против Фейербаха интересующий нас здесь тезис, написал в первом томе своего „Капитала": „воздействуя на природу вне его, человек изменяет свою собственную природу". Это положение обнаруживает весь свой глубокий смысл только при свете Марксовой теории познания. И мы еще увидим, как сильно подтверждается эта его теория историей культурного развития и даже, между прочим, наукой о языке. Но все-таки надо признать, что гносеология Маркса по самой прямой линии происходит от гносеологии Фейербаха, или, если хотите, что она собственно, и есть гносеология Фейербаха, но только углубленная посредством сделанной к ней Марксом гениальной поправки.

Прибавим мимоходом, что эта гениальная поправка была подсказана „духом времени". В этом стремлении взглянуть на взаимодействие между объектом и суб'ектом именно с той его стороны, с которой суб'ект выступает в активной роли, сказалось общественное настроение того времени, когда складывалось миросозерцание Маркса-Энгельса. Революция 1848 года была тогда уже не за горами...

III.

Учение об единстве суб'екта и об'екта, мышления и бытия, в одинаковой мере свойственное как Фейербаху, так и Марксу-Энгельсу, было также учением наиболее выдающихся материалистов XVII и XVIII столетий.

В другом месте [1]) мы показали, что Ламеттри и Дидро пришли, — хотя, надо прибавить, каждый своим особым путем, — к такому миросозерцанию, которое было „родом спинозизма", т.-е. спинозизмом, лишенным искажавшей его истинное содержание теологической привески; легко было бы показать, что, поскольку речь идет об единстве суб'екта и об'екта, Гоббс тоже очень близок к Спинозе. Но это завело бы нас слишком далеко. Да в этом и нет настоятельной нужды. Едва ли не интереснее для читателя будет констатирование того, что каждый натуралист, хотя немного занимающийся вопросом об отношении мышления к бытию, приходит в настоящее время к тому учению об их единстве, с которым мы познакомились у Фейербаха.

Когда Гексли писал: „В наши дни никто из стоящих на высоте современной науки и знающих факты не усомнится в том, что основы психологии надо искать в физиологии нервной системы" и что так-называемая деятельность духа „есть совокупность мозговых функций" [2]) он высказывал именно то, что говорил Фейербах, только он с этими словами связывал гораздо менее ясные понятия, и именно потому, что понятия, связывавшиеся у него с этими словами, были гораздо менее ясны, он мог пытаться соединить свой только что указанный нами взгляд с философским скептицизмом Юма [3]).

---

[1]) См. статью „Бернштейн и материализм" в нашем сборнике „Критика наших критиков" (перепечатана в „очерках по истории материализма". Библиотека Коммуниста, выпуск второй).

[2]) Hume, sa vie, sa philosophie, p. 108.

[3]) Ibid., p. 110.

Точно так же и наделавший так много шума „монизм" Геккеля есть ни что иное, как чисто материалистическое,—и, в сущности, близкое к фейербаховскому,—учение об единстве суб'екта и об'екта. Но Геккель очень плохо знаком с историей материализма, и потому он считает нужным бороться с его „односторонностью", между тем как ему следовало бы дать себе труд изучить его теорию познания в том виде, какой она приняла у Фейербаха и Маркса: это предохранило бы его самого от многих промахов и односторонностей, облегчающих его противникам борьбу с ним на почве фолософии.

Совсем близко подходит к новейшему материализму,—материализму Фейербаха-Маркса-Энгельса,—Август Форель в различных своих сочинениях, например, в докладе: „Gehirn und Seele", читанном на 66-м с'езде немецких естествоиспытателей и врачей в Вене (26 сентября 1894 г.) [1]). Местами Форель не только выражает там мысли очень сходные с мыслями Фейербаха, но что прямо поразительно,—располагает свои доводы именно так, как располагал свою аргументацию Фейербах. По словам Фореля, каждый новый день приносит нам убедительные доказательства того, что психология и физиология мозга представляют собою лишь два различных способа рассматривания „одной и той же вещи". Читатель не забыл приведенного нами выше и относящегося к этому же вопросу тожественного взгляда Фейербаха. Этот взгляд можно дополнить здесь следующим соображением: „Я,—говорил Фейербах,—психологический об'ект для самого себя, но физиологический—для другого" [2]). В конце концов, главная мысль Фореля сводится к тому положению, что сознание есть „внутренний рефлекс мозговой деятельности" [3]). А это уже чисто материалистический взгляд.

---

[1]) См. также третью главу его книги L'âme et systéme nerveux, hygiène et pathologie. Paris, 1906.

[2]) Werke, II, 348—349.

[3]) Die psychischen Fähigkeiten der Ameisen etc., München, 1901. S. 7.

Идеалисты и кантианцы разных видов и разновидностей твердят, возражая материалистам, что непосредственно нам дана именно только психическая сторона тех явлений, о которых идет речь у Фореля и у Фейербаха. Это возражение было чрезвычайно ярко формулировано Шеллингом, который сказал, что „дух навсегда останется островом, на который из области материи нельзя попасть без прыжка". Форель прекрасно знает это, но он убедительно доказывает, что наука была бы прямо невозможна, если бы мы серьезно решились не выходить за пределы этого острова. „Каждый человек,—говорит он,—имел бы лишь психологию своего суб'ективизма (hätte nur die Psychologie seines Subjectivismus)... и положительно должен был бы усомниться в существовании внешнего мира и других людей"[1]). Но такое сомнение есть нелепость. „Умозаключения по аналогии, естественно-научная индукция, сравнение опыта наших пяти внешних чувств доказывают нам существование внешнего мира других людей и психологии этих последних. Точно так же они доказывают нам, что сравнительная психология, психология животных, наконец, наша собственная психология осталась бы для нас непонятной и полной противоречий, если бы мы стали рассматривать ее без отношения к деятельности нашего мозга; она прежде всего представилась бы противоречащей закону сохранения энергии"[2]).

Фейербах не только обнаруживает те противоречия, в которые неизбежно попадают люди, отвергающие материалистическую точку зрения, но и показывает, каким путем идеалисты попадают на свой „остров". Он говорит: „Я есмь я для самого себя и ты для другого. Но таковым я являюсь только как чувственное (т. е. материальное. Г. П.) существо. Абстрактный же рассудок изолирует это для себя—бытие, как субстанцию, атом, я, бог; поэтому, связь для себя бытия с бытием для другого—является у него произвольной. То, что мыслится мною вне

[1]) Ibid S. 7—8.

[2]) Die psychischen Fähigkeiten, та же страница.

чувственности (ohne Sinnlichkeit), мыслится вне всякой связи"[1]). Это в высшей степени важное соображение сопровождается у него анализом того процесса абстракции, который привел к возникновению Гегелевой логики, как онтологического учения[2]).

Если бы Фейербах обладал теми сведениями, которые дает нам современная нам этнология, то он мог бы прибавить, что философский идеализм исторически происходит от анимизма, свойственного первобытным народам. На это указал еще Э. Тейлор, и с этим начинают уже отчасти считаться,—хотя пока еще больше как с курьезом, чем как с культурно-историческим фактом, имеющим колоссальное теоретико-познавательное значение,—некоторые историки философии[3]).

Все эти соображения и доводы Фейербаха не только были хорошо известны и внимательно продуманы Марксом и Энгельсом, но и, несомненно, в весьма значительной мере содействовали выработке их собственного миросозерцания. Если Энгельс относился впоследствии самым презрительным образом к немецкой философии после Фейербаха, то это происходило потому, что она, по его мнению, только воскрешала те старые философские ошибки, которые были обнаружены еще Фейербахом. И

---

[1]) Werke, II, 322.

[2]) «Der absolute Geist Hegels ist nichts Anderes als der abstracte, von sich selbct abgesonderte sogenannte endliche Geist, wie das unendliche Wesen der Theologie nichts Anderes ist, als das abstracte endliche Wesen». Werke. II, 263. («Абсолютный дух Гегеля есть ни что иное, как абстрактный, отвлеченный от себя самого так-наз. конечный дух точно также, как бесконечное служение теологии есть ни что иное, как абстрактное конечное существо»).

[3]) La civilisation primitive, Paris, 1876, tome II, p. 143. Надо, впрочем, заметить, что у Фейербаха есть на этот счет поистине гениальная догадка. Он говорит: «Der Begriff des Objects ist ursprünglich gar nichts Anderes als der Begriff eines andern ich,—so fasst der Mensch in der Kindheit alle Dinge als freithätige, willkürliche Wesen auf, daher ist der Begriff des Objects überhaupt vermettelt durch den Begriff des gegenständlichen Ich». II, 322. («Понятие об'ект — первоначально есть ни что иное как понятие другого я. Так человек в детстве воспринимает все предметы, как свободные, действующие произвольно существа. Поэтому понятие об'екта вообще опосредствовано понятием предметного Я»).

так оно и было на самом деле. Ни один из новейших критиков материализма не привел ни одного довода, который не был бы опровергнут или самим Фейербахом или, еще раньше его, французскими материалистами; но „критикам Маркса" — Э. Бернштейну, К. Шмидту, Б. Кроче и т. д. и т. д. — „эклектическая нищенская похлебка" самоновейшего немецкого любомудрия кажется совершенно новым блюдом: они питались ею и, видя, что Энгельс не считал нужным заниматься ею, воображали, что он „уклоняется" от разбора той аргументации, которая давным-давно уже была рассмотрена им и признана равно никуда негодной. Это старая, но вечно новая история. Крысы никогда не перестанут думать, что кошка много сильнее льва.

Признавая поразительное сходство,—а отчасти и тожество,—взглядов Фейербаха со взглядами А. Фореля, заметим, однако, что, если этот последний обладает гораздо большим запасом естественнонаучного образования, то Фейербах имел перед ним преимущество обстоятельного знания философии. Поэтому Форель делает промахи, каких мы не встречаем у Фейербаха. Форель называет свою теорию психо-физиологической теорией тожества[1]). Против этого нельзя возражать по существу, потому что всякая терминология есть условная вещь, но так как теория тожества лежала когда-то в основе совершенно определенной идеалистической философии, то Форель лучше сделал бы, если бы прямо, смело и просто об'явил свое учение материалистическим, но он, как видно, сохранил некоторые предрассудки против материализма и потому выбрал другое название. Вот почему мы находим нужным отметить, что тожество в смысле Фореля не имеет ничего общего с тожеством в идеалистическом смысле.

„Критики Маркса" не знают и этого. К. Шмидт в полемике с нами приписывал материалистам имен-

[1]) См. его статью: »Die psycho-physiologische Identitätstheorie als wissenschaftliches Postulat», в сборнике «Festschrift», I. Rosenthal. Leipzig, 1906, erster Theil, sie S. 119—132.

но идеалистическое учение о тожестве. На самом деле материализм признает единство суб'екта и об'екта, а вовсе не тожество их. И это хорошо выяснено было опять-таки Фейербахом.

По Фейербаху, единство суб'екта и об'екта, мышления и бытия имеет смысл только тогда, когда за основу этого единства берется человек. Это опять звучит на какой-то особый „гуманистический" лад, и большинство людей, занимавшихся Фейербахом не считало нужным получше вдуматься в то, каким образом человек служит основой единства указанных противоположностей. На самом деле Фейербах понимает это вот как. „Только там,—говорит он,—где мышление есть не суб'ект для себя, а предикат действительного (т.-е. материального. Г. П.) существа, только там мысль не есть нечто оторванное от „бытия" [1]). Теперь спрашивается: где же, в каких философских системах мышление есть „суб'ект для себя", т.-е. нечто независимое от телесного существования мыслящего индивидуума? Ответ ясен в идеалистических системах. Идеалисты сначала превращают мышление в самостоятельную, независимую от человека сущность („суб'ект для себя"), а потом об'являют, что в ней, в этой сущности, разрешается противоречие между бытием и мышлением именно потому, что ей, независимой от материи сущности, свойственно отдельное, независимое бытие. И оно действительно разрешается в ней, так как что же такое—эта сущность? Мышление. И это мышление существует,—есть,—независимо ни от чего другого. Но это решение противоречия есть чисто формальное решение его. Оно достигается только тем, что, как мы уже говорили выше, устраняется один из его элементов: именно независимое от мышления бытие. Бытие оказывается простым свойством мышления, и когда мы говорим, что данный предмет существует, это значит только то, что он существует в мышлении. Так понимал этот вопрос, например, Шеллинг. Для него мышление было тем

[1]) Werke, II, 340.

абсолютным принципом, из которого необходимо следовал действительный мир, т.-е. природа и „конечный“ дух. Но как следовал? Что означало существование действительного мира? Ни что иное, как существование в мышлении. Для Шеллинга вселенная была лишь самосозерцанием абсолютного духа. И то же мы видим у Гегеля. Но Фейербах не довольствовался таким чисто формальным разрешением противоречия между мышлением и бытием. Он указывал на то, что мышления независимого от человека, т.-е. от действительного, материального существа, нет и быть не может. Мышление есть деятельность мозга. „Но мозг только до тех пор служит органом мышления, пока он связан с головой и телом человека“ [1]).

Теперь мы видим, в каком смысле человек является у Фейербаха основой единства бытия и мышления. Он является ею в том смысле, что он сам есть ни что иное, как материальное существо, обладающее способностью к мышлению. Но если он есть такое существо, то ясно, что в нем не устраняется ни один из элементов противоречия: ни бытие, ни мышление, ни „материя“, ни „дух“, ни суб'ект, ни об'ект. Они именно об'единяются в нем как в субекте-об'екте. „Я есмь и я мыслю... только как суб'ект-об'ект“,—говорит Фейербах.

Быть—не значит существовать в мысли. В этом отношении философия Фейербаха гораздо яснее философии И. Дицгена. „Доказать, что нечто существует,—замечает Фейербах,—значит доказать, что оно существует не только в мысли“ [2]). И это совершенно верно. Но ведь это имеет тот смысл, что единство между мышлением и бытием вовсе не означает и не может означать тожества между ними.

Здесь выступает перед нами одна из самых важных черт, отличающих материализм от идеализма.

---

[1]) Werke, II, 362—363.

IV.

Когда говорят, что Маркс и Энгельс были в течение некоторого времени последователями Фейербаха, то нередко хотят этим сказать, что когда прошло это время, то миросозерцание Маркса-Энгельса существенно изменилось и стало совершенно отличным от миросозерцания Фейербаха. Как видно, так представляется дело К. Дилю, который находит, что влияние Фейербаха на Маркса обыкновенно очень преувеличивается [1]). Это—огромная ошибка. Перестав быть последователями Фейербаха, Маркс и Энгельс вовсе не перестали разделять весьма значительной части его собственно философских взглядов. И это лучше всего доказывается теми тезисами, в которых Маркс критиковал Фейербаха. Тезисы эти вовсе не устраняют основных положений философии Фейербаха: они только исправляют эти положения и—главное—требуют более последовательного, чем у Фейербаха, приложения их к об'яснению окружающей человека действительности, в особенности же его собственной деятельности. Не мышление определяет собою бытие, а бытие определяет собою мышление. Эта мысль лежит в основе основ всей философии Фейербаха. И эта же мысль кладется Марксом и Энгельсом в основу материалистического об'яснения истории. Материализм Маркса и Энгельса представляет собою гораздо более развитое учение, нежели материализм Фейербаха. Но материалистические взгляды Маркса и Энгельса развивались в том самом направлении, которое указывалось внутренней логикой философии Фейербаха. Вот почему взгляды эти всегда будут не вполне ясны,—особенно с их философской стороны,—для того, кто не потрудится выяснить себе, какая именно часть названной философии вошла как составной элемент, в миросозерцание основателей научного социализма. И когда вы, читатель, встретите человека, хлопочущего о том, чтобы най-

[1]) «Handwörterbuch der Staatswissenschaften», V. S, 708.

ти „философское обоснование" для исторического материализма, вы можете быть уверены, что у этого глубокомысленного смертного есть очень большая недохватка в только что указанном нами отношении.

Но оставим глубокомысленных людей. Уже в своем третьем тезисе о Фейербахе, Маркс вплотную подходит к самой трудной из всех тех задач, которые ему предстояло решить в области исторической „практики" общественного человека с помощью выработанного Фейербахом правильного понятия об единстве суб'екта и об'екта. Тезис этот гласит: „Материалистическое учение о том, что люди представляют собою продукт обстоятельств и воспитания... забывает, что обстоятельства изменяются именно людьми, и что воспитатель сам должен быть воспитан". Раз решена эта задача, „тайна" материалистического об'яснения истории открыта. Но Фейербах не мог решить ее. В истории он,—подобно французским материалистам XVIII века, с которыми у него было много общего,—оставался идеалистом. Тут Марксу-Энгельсу приходилось строить наново, пользуясь тем теоретическим материалом, который был накоплен к тому времени общественной наукой, а преимущественно французскими историками эпохи реставрации. Но и тут философия Фейербаха все-таки давала им некоторые драгоценные указания. Фейербах говорит: „Искусство, религия, философия и наука суть лишь проявления или откровения человеческой сущности" [1]). Отсюда следует, что „человеческая сущность" заключает в себе об'яснение всех идеологий, т.-е., что развитие этих последних обусловливается развитием „человеческой сущности". Что же она такое? Фейербах отвечает: „Сущность человека заключается лишь в общности, в единстве человека с человеком" [2]). Это очень неопределенно. И тут мы видим перед собою предел, дальше которого не пошел Фейербах. Но за этим пределом как раз и

[1]) Werke, II, 343.
[2]) Werke, II, 344.

начинается область найденного Марксом-Энгельсом материалистического об'яснения истории: это об'яснение указывает нам именно те причины, которыми определяется в ходе развития человека „общность единства человека с человеком", т.-е. те взаимные отношения, в которые люди вступают между собою. Этот предел не только отделяет Маркса от Фейербаха, но и свидетельствует об его близости к нему.

Шестой тезис о Фейербахе говорит, что сущность человека есть совокупность всех общественных отношений. Это гораздо определеннее, нежели то, что говорил сам Фейербах; но здесь едва ли не яснее, чем где-нибудь, обнаруживается тесная генетическая связь миросозерцания Маркса с философией Фейербаха.

Когда Маркс писал этот тезис, он уже знал не только то направление, в котором следовало искать решения задачи, но также и самое ее решение. В своей „Критике Гегелевской философии права" он показал, что взаимные отношения людей в обществе, „правовые отношения, равно как и формы государственной жизни, — писал он там, — не могут быть об'яснены ни сами собой, ни так-называемым общим развитием человеческого духа, но коренятся в материальных условиях человеческой жизни, совокупность которых Гегель, по примеру англичан и французов XVIII столетия, обозначил именем гражданского общества; анатомии же гражданского общества нужно искать в его экономии".

Теперь оставалось только об'яснить происхождение и развитие экономии, чтобы иметь полное решение той задачи, с которой материализм не мог справиться в течение целых столетий. Это об'яснение и было дано Марксом-Энгельсом.

Само собою разумеется, что говоря о полном решении этой великой задачи, мы имеем в виду лишь ее общее, алгебраическое решение, которое материализм не мог найти в течение целых столетий. Само собою разумеется, что говоря о полном решении, мы имеем в виду не арифметику общественного развития, а его алгебру;

не указание причин отдельных явлений, а указание того, как надо подходить к открытию этих причин. А это значит, что материалистическое об'яснение истории имело прежде всего методологическое значение. Это прекрасно понимал Энгельс, когда писал: „Нам нужны не столько голые результаты, сколько изучение (das Studium); результаты — ничто, если брать их независимо от ведущего к ним развития“ [1]). Но этого не понимают подчас ни „критики“ Маркса, которым, как говорится, бог простит, ни некоторые из его „последователей“, что гораздо хуже. Микель Анджело говорил о себе: „Мои знания породят множество невежд“. И это его пророчество, к сожалению, оправдалось. Теперь невежд порождают Марксовы знания. Винить в этом надо, конечно, не Маркса, а тех, которые говорят вздор во имя его. Но чтобы избежать вздора, необходимо именно понять методологическое значение исторического материализма.

V.

Вообще, одной из самых великих заслуг Маркса и Энгельса перед материализмом, является выработка ими правильного метода. Сосредоточив свои усилия на борьбе со спекулятивным элементом философии Гегеля, Фейербах мало оценил и использовал ее диалектический элемент. Он говорит: „Истинная диалектика есть вовсе не диалог уединенного мыслителя с самим собою; она есть диалог между я и ты“ [2]). Но, во-первых, у Гегеля диалектика тоже не имела значения „диалога уединенного мыслителя с самим собою“, а во-вторых, замечание Фейербаха правильно определяет исходную точку философии, но не ее метод. Этот пробел был пополнен Марксом-Энгельсом, которые поняли, что ошибочно было бы, бо-

[1]) Nachlass, I, 477.
[2]) Werke, II, 345.

рясь со спекулятивной философией Гегеля, игнорировать его диалектику. Некоторые критики утверждали, что в первое время после своего разрыва с идеализмом, Маркс тоже относился к диалектике с большим равнодушием. Но это мнение, имеющее некоторый вид вероятности, опровергается тем указанным нами выше фактом, что уже в „Deutsch-Französischen Jahrbücher" Энгельс говорил о методе, как о душе новейшей системы взглядов[1]).

И, во всяком случае, вторая часть „Нищеты философии" совсем не оставляет места для сомнения в том, что в эпоху своей полемики с Прудоном Маркс прекрасно понимал значение диалектического метода и умел хорошо пользоваться им. Победа Маркса над Прудоном в этом споре была победой человека, умевшего мыслить диалектически, над человеком, не сумевшим выяснить себе природу диалектики, но пытавшимся применить ее метод к анализу капиталистического общества. И та же вторая часть „Нищеты философии" показывает, что уже в то время диалектика, которая имела у Гегеля чисто идеалистический характер и которая сохранила таковой у Прудона,—поскольку она вообще была усвоена им,—была поставлена Марксом на материалистическую основу.

Впоследствии, характеризуя свою материалистическую диалектику, Маркс писал: „Для Гегеля логический процесс, превращающийся у него под именем Идеи, в самостоятельного субъекта, есть Демиург действительности, которая составляет только его внешнее проявление. Для меня—же как раз наоборот: идеальное есть переведенное и переработанное в человеческой голове материальное". Эта характеристика предполагает полное согласие с Фейербахом, во-первых, во взгляде на Гегелеву „идею", а, во-вторых, на отношение мышления к бытию. „Поставить на ноги" Гегелеву диалектику мог только человек, убежденный в правильности

---

[1]) Энгельс имел в виду не лично себя, а всех вообще своих единомышленников: «Wir bedürfen», говорил он; к числу же его единомышленников, несомненно, принадлежал и Маркс.

основного положения философии Фейербаха: не мышление обусловливает бытие, а бытие—мышление.

Диалектику многие смешивают с учением о развитии,—и она, в самом деле, есть такое учение. Но диалектика существенно отличается от вульгарной „теории эволюции", которая целиком построена на том принципе, что ни природа, ни история не делают скачков, и что все изменения совершаются в мире лишь постепенно. Еще Гегель показал, что понятое таким образом учение о развитии смешно и несостоятельно.

„Когда хотят понять возникновение или исчезновение чего-либо,—говорит он в первом томе своей „Логики",—то воображают обыкновенно, что уясняют себе дело посредством представления о постепенности такого возникновения или уничтожения. Однако, изменения бытия совершаются не только путем перехода одного количества в другое, но также путем перехода качественных различий в количественные, и наоборот, того перехода, который прерывает постепенность, ставя на место одного явления другое"[1]). И всякий раз, когда прерывается постепенность—происходит скачок. Гегель показывает далее целым рядом примеров , как часто имеют место скачки и в природе и в истории, и обнаруживает смешную логическую ошибку, лежащую в основе вульгарной „теории эволюции". „В основе учения о постепенности,—замечает он,—лежит представление о том, что возникающее уже существует в действительности и остается незаметным только вследствие своих малых размеров. Точно также, говоря о постепенном уничтожении, воображают, будто небытие данного явления, или то новое явление, которое должно занять его место, уже находится налицо, хотя пока еще и незаметно... Но таким образом устраняется всякое понятие о возникновении и уничтожении... Об'яснять возникновение или уничтожение постепенностью изменения—значит сводить все дело к скучной тавтологии и

[1]) «Wissenschaft der Logik», erster Band, Nürnberg, 1812, sie S. 313—314.

представлять себе возникающее или уничтожающееся в уже готовом виде" (т.-е, уже возникшим или уже уничтожившимся. Г. П.) [1]).

Этот диалектический взгляд Гегеля на неизбежность скачков в процессе развития был полностью усвоен Марксом и Энгельсом. Энгельс подробно развивает его в своей полемике с Дюрингом, причем он и его „ставит на ноги", т.-е. на материалистический фундамент.

Так он указывает, что переход одного вида энергии в другой не может совершиться иначе, как посредством скачка. Так, он ищет в современной химии подтверждение диалектической теоремы о переходе количества в качество [2]). Вообще, права диалектического мышления подтверждаются у него диалектическими свойствами бытия. Бытие и здесь обусловливает собою мышление.

Не входя в более подробную характеристику материалистической диалектики (об ее отношении к тому, что можно назвать нисшей логикой, в параллель с нисшей математикой см. в нашем предисловии к нашему переводу брошюры „Людвиг Фейербах"), мы напомним читателю, что в течение последнего двадцатилетия теория, видящая в процессе развития одни только постепенные изменения, стала терять под ногами почву даже в биологии, где она раньше пользовалась едва ли не всеобщим признанием. В этом отношении работам Армана Готье и Гуго де-Фриса суждено, повидимому, составить эпоху. Достаточно сказать, что созданная де-Фрисом теория мутаций представляет собою учение о скачкообразном развитии видов (см. его двухтомное сочинение: „Die Mutations Theorie" Leipzig, 1901—1903; его реферат: „Die Mutationen und die Mutations-Perioden bei der Entstehung der Arten", Leipzig, 1901, и его же лекции, читанные в Калифорнском универ-

---

[1]) По вопросу о «скачках» см. нашу брошюру «Горе г. Тихомирова», С.-Петербург. Изд. М. Малых, стр. 6—14. (см. в приложении).

[2]) Ibid S. 128 и след.

ситете и появившиеся в немецком переводе под названием: „Arten und Varietäten und ihre Entstehung durch die Mutation", Berlin, 1906).

По мнению этого выдающегося натуралиста, слабою стороной Дарвиновой теории происхождения видов является именно та мысль, что это происхождение может быть об'яснено постепенными изменениями [1]). Интересно также и очень метко то замечание де-Фриса, что господство теории постепенных изменений в учении о происхождении видов было неблагоприятно для экспериментального исследования относящихся сюда вопросов [2]).

К этому полезно прибавить еще вот что. В современном естествознании довольно быстро распространяется, преимущественно между нео-ламаркистами, учение о так-называемой одушевленности материи, т.-е. о том, что материя, вообще, а особенно всякая организованная материя, обладает известной степенью чувствительности. Это учение, рассматриваемое некоторыми как прямая противоположность материализму (см., например, книгу Р. Г. Франсэ „Der heutige Stand der Darwin'schen Fragen", Leipzig, 1907), на самом деле представляет собою, будучи правильно понято, лишь перевод на язык новейшего естественного знания материалистического учения Фейербаха об единстве бытия и мышления, об'екта и суб'екта [3]). Можно с уверенностью утверждать, что усвоившие это учение, Маркс и Энгельс отнеслись бы к указанному, пока еще, правда, очень плохо разработанному, направлению в естествознании с самым живым интересом.

Герцен справедливо говорит, что философия Гегеля, которую многие считали консервативной по преимуществу, есть настоящая алгебра революции. Но у Гегеля эта алгебра оставалась без всякого

---

[1]) Die Mutationen, s. s. 7—8.

[2]) Arten etc., S. 421.

[3]) Не нужно, впрочем, забывать, что к учению об «одушевленности материи» склонялись многие французские материалисты XVIII века. О Спинозе мы уже не говорим.

применения к жгучим вопросам практической жизни. Спекулятивный элемент, по необходимости, вносил в философию великого абсолютного идеалиста дух консерватизма. Совершенно другое видим мы в материалистической философии Маркса. Революционная „алгебра" выступает в ней во всей непреодолимой силе своего диалектического метода. Маркс говорит: „В своем мистифицированном виде диалектика была немецкой модой, потому что она как-будто оправдывала существующий порядок вещей. В своем рациональном виде она неприятна буржуазии и ее теоретикам, потому что она, об'ясняя существующее, об'ясняет также и его отрицание и его неизбежное уничтожение; потому что она рассматривает каждую данную форму в ходе движения, т.-е. стало-быть, с переходящей стороны; потому что она не останавливается ни перед чем, будучи практической и революционной по существу".

Смотря на вопрос о материалистической диалектике с точки зрения истории русской литературы, можно сказать, что она впервые давала необходимый и достаточный метод для разрешения того вопроса о разумности всего действительного, над которым так мучительно бился наш гениальный Белинский [1]). Только диалектический метод Маркса, будучи приложен к изучению русской жизни, показал нам, что было в ней действительным и что только казалось таковым.

VI.

Приступая к материалистическому об'яснению истории, мы прежде всего наталкиваемся, как мы видели, на вопрос о том, где лежат действительные причины развития общественных отношений. И мы уже знаем, что „анатомия гражданского общества" определяется его экономией. Но чем же определяется эта последняя?

---

[1]) См. нашу статью: «Белинский и разумная действительность» в сборнике «За двадцать лет».

На это Маркс отвечает так: „В общественном производстве своей жизни люди наталкиваются на известные необходимые, от их воли не зависящие, отношения—отношения производства, которые соответствуют определенной ступени развития их материальных производительных сил. Совокупность этих отношений производства составляет экономическую структуру общества, реальную основу, на которой возвышается юридическая и политическая надстройка“ [1]).

Этим ответом Маркса весь вопрос о развитии экономии сводится, стало быть, к тому, какими причинами обусловливается развитие производительных сил, находящихся в распоряжении общества. А в этой своей последней форме он решается прежде всего указанием на свойства географической среды.

Уже Гегель в своей философии истории отмечает важную роль „географической подкладки всемирной истории“. Но так как причиной всякого развития у него является в последнем счете идея, так как он только мимоходом и только во второстепенных случаях прибегал как бы против воли к материалистическому об'яснению явлений, то высказанный им глубоко верный взгляд на великое историческое значение географической среды не мог привести его ко всем тем плодотворным выводам, которые из него вытекают. Эти выводы были сделаны в их полноте только материалистом Марксом.

Свойства географической среды определяют собою характер как тех предметов природы, которые служат человеку для удовлетворения его потребностей, так и тех, которые производятся им самим с той же целью. Там, где не было металлов, туземные племена не могли собственными силами выйти за пределы того, что мы называем каменным веком. Точно также и для перехода первобытных рыболовов и охотников к

---

[1]) См. предисловие к „Zur Kritik der politischen Oekonomie“; есть русский перевод.

скотоводству и земледелию нужны были соответствующие свойства географической среды, т.-е. в данном случае—соответствующие фауна и флора. Л. Г. Морган замечает, что отсутствие способных к приручению животных в западном полушарии и специфические различия во флоре обоих полушарий причинили большие различия в ходе общественного развития их обитателей [1]). Вайц говорит о краснокожих Северной Америки: „У них совсем нет домашних животных. Это очень важно, потому что в этом обстоятельстве заключается главная причина, вынуждающая их оставаться на низшей ступени развития" [2]). Швейнфурт сообщает, что когда в Африке данная местность оказывается перенаселенной, то часть ее жителей выселяется, причем она иногда меняет свой образ жизни в зависимости от географической среды: „Племена, занимавшиеся до тех пор земледелием, становятся охотничьими, а племена, жившие от своих стад, переходят к земледелию" [3]). По его же словам, жители богатой железом местности, охватывающей значительную часть центральной Африки, „естественно стали заниматься добыванием железа" [4]).

Но это еще не все. Уже на самых низших ступенях развития человеческие племена вступают во взаимные сношения, обмениваясь друг с другом некоторыми из своих произведений. Этим раздвигаются пределы географической среды, влияющей на развитие производительных сил каждого из этих племен, и ускоряется ход этого развития. Но понятно, что большая или меньшая легкость возникновения и поддержания подобных сношений также зависит от свойств географической среды: еще Гегель говорил, что моря и реки сближают людей, между тем как горы их разделяют. Впрочем, моря сближают людей только на сравнительно более вы-

---

[1]) «Die Urgesellschaft», Stuttgart, 1891, s. S. 20—21.

[2]) «Au coeur de l'Afrique», Paris, 1875, tome I, p. 199.

[3]) Ibid, t. II, p. 94.

[4]) О влиянии климата на земледелие см. также у Ратцеля: «Die Erde und das Leben», Leipzig und Wien, 1902, II Band, sie S. 540—541.

соких стадиях развития производительных сил; на более же низких — море, по справедливому замечанию Ратцеля, очень сильно затрудняет сношение между разделенными им племенами[1]). Но как бы там ни было, а несомненно, что чем разнообразнее свойства географической среды, тем благоприятнее она для развития производительных сил. „Не абсолютное плодородие почвы—говорит Маркс,—а ее дифференцирование, разнообразие ее естественных произведений составляет естественную основу общественного разделения труда и заставляет человека, в силу разнообразия окружающих его естественных условий, разнообразить свои собственные потребности, способности, средства и способы производства“ [2]). Почти слово в слово то же повторяет за Марксом Ратцель: „Главное дело не в наибольшей легкости добывания пищи, а в возбуждении известных наклонностей, привычек, и, наконец, потребностей в человеке“ [3]).

Итак, свойства географической среды обусловливают собою развитие производительных сил, развитие же производительных сил обусловливает собою развитие экономических, а вслед за ними и всех других общественных отношений. Маркс поясняет это следующими словами: „В зависимости от характера производительных сил изменяются и общественные отношения производителей друг к другу, изменяются условия их совместной деятельности и их участие во всем ходе производства. С изобретением нового военного орудия, огнестрельного оружия, необходимо должна была измениться вся внутренняя организация армии, равно как и все те взаимные отношения, в которых стоят входящие в состав армии лица, и благодаря которым она представляет собой организованное целое; наконец, изменились также и взаимные отношения целых армий“.

---

[1]) Anthropogeographie, Stuttgart, 1882, стр. 29.
[2]) Das Kapital, I Band, III Auflage, s. S. 524—526.
[3]) Völkerkunde, I Band, Leipzig, 1887. S. 56.

Чтобы сделать это пояснение еще более наглядным, приведен пример. Мазаи, в восточной Африке, убивают своих пленников потому, что—как говорит Ратцель — это пастушеское племя еще не имеет технической возможности воспользоваться их подневольным трудом. А соседние с этими пастухами земледельцы Вакамба имеют возможность использовать этот труд и потому оставляют своим пленникам жизнь, обращая их в рабство. Возникновение рабства предполагает, стало-быть, достижения известной степени в развитии общественных сил, позволяющей эксплоатировать труд невольников[1]). Но рабство есть такое производственное отношение, с появлением которого начинается разделение на классы общества, знавшего прежде лишь разделения, соответствующие полам и возрастам. Когда рабство достигает полного развития, оно накладывает свою печать на всю экономию общества, а через посредство экономии на все прочие общественные отношения и прежде всего на политический строй. Как ни различались между собою по своему политическому устройству античные государства, но их главная черта состояла в том, что каждое из них было политической организацией, выражавшей и защищавшей интересы одних свободных людей.

VII.

Мы знаем теперь, что развитие производительных сил, определяющее собою, в последнем счете, развитие всех общественных отношений, определяется свойствами географической среды. Но, раз возникнув, данные общественные отноше-

---

[1]) Völkerkunde, I, 83. Надо, впрочем, заметить, что обращение в рабство сводится иногда, на первых ступенях развития, к насильственному принятию пленников в общественную организацию победителей на равных правах с ними. Тут нет пользования прибавочным трудом пленника, а есть только общая выгода, проистекающая от сотрудничества с ним. Но этот вид рабства предполагает наличность известных производительных сил и известной организации производства.

ния сами оказывают большое влияние на развитие производительных сил. Таким образом, то, что первоначально является следствием, в свою очередь, становится причиной; между развитием производительных сил и общественным строем возникает взаимодействие, в различные эпохи принимающее самые разнообразные виды.

Надо помнить также, что если данным состоянием производительных сил обусловливаются существующие в данном обществе внутренние отношения, то от того же состояния зависят, в конце-концов, и его внешние отношения. Каждой данной ступени развития производительных сил соответствует определенный характер вооружения, военного искусства и, наконец, международного, точнее междуобщественного, т.-е., между прочим, и между-племенного права. Охотничьи племена не могут создавать крупных политических организаций именно потому, что низкий уровень их производительных сил вынуждает их, по образному древне-русскому выражению, разбредаться розно, небольшими общественными группами в поисках средств существования. А чем больше „разбредаются розно" эти общественные группы, тем неизбежнее становится разрешение путем более или менее кровавой борьбы даже таких ссор, которые в цивилизованном обществе легко могли бы быть решены в камере мирового судьи. Эйр говорит, что когда несколько австралийских племен сходятся между собою для известных целей в определенной местности, то такие сближения никогда не бывают продолжительными: еще прежде, чем австралийцев заставит разойтись недостаток пищи или необходимость заняться преследованием дичи, между ними начинаются враждебные столкновения, очень скоро ведущие, как известно, к битвам[1]).

Всякий понимает, что подобные столкновения

[1]) Ed. J. Eure «Manners and Customs ot the Aborigines ot the Australia», London, 1847, p. 243.

могут происходить по самым разнообразным поводам. Но замечательно, что большинство путешественников приписывают их экономическим причинам. Когда Стенлей спросил нескольких туземцев в экваториальной Африке, как возникают их войны с соседними племенами, ему ответили: „Наши ребята пойдут на охоту; соседи станут их прогонять; тогда мы нападаем на соседей, а они на нас, и мы деремся, пока не надоест или пока какая-нибудь сторона не окажется побежденной“[1]). Подобно этому Бертон говорит: „Все войны в Африке вызываются только двумя причинами: похищением скота или захватом людей“[2]). Ратцель считает вероятным, что в новой Зеландии войны между туземцами нередко вызывались простым желанием полакомиться человечьим мясом[3]). Но большая склонность туземцев к людоедству сама об'ясняется бедностью тамошней фауны.

Всякий знает, как много зависит исход войны от вооружения каждой из воюющих сторон. А их вооружение определяется состоянием их производительных сил, их экономией и их общественными отношениями, выросшими на основе экономии[4]).

[1]) «Dans les Ténébres de l'Aftique». Paris, 1890, tome II, p. 91.

[2]) Burton. «Voyage aux grands lacs de l'Afrique orientale». Paris. 1862, p. 666.

[3]) Ibid., p. 93.

[4]) Это хорошо раз'яснено Энгельсом в тех главах Анти-Дюринга, которые посвящены разбору «теории насилия». См. также книгу «Les maitres de la guerre», par le lieutenant-colonel Rousset, professeur á l'ecole supérieure de la guerre. Paris, 1901. Автор этой книги, излагающей взгляды генерала Банналя, говорит: «Социальное состояние каждой данной исторической эпохи имеет преобладающее влияние не только на военный организм нации, но еще и на характер, на способности и на стремления военных людей. Обыкновенные генералы пользуются обычными методами, употребляют в дело обычные средства и побеждают или терпят поражения, смотря по обстоятельствам... Что же касается великих полководцев, то они подчиняют своему гению средства и приемы борьбы» (стр. 2). Как?—Это самое интересное. Оказывается, что они, «руководствуясь чем-то в роде инстинктивной догадки, преобразуют и средства и приемы сообразно параллельным законам социальной эволюции, решительное влияние которой на технику военного искусства оценивается ими одними» (та же стр.); значит, остается открыть причинную связь «социальной эволюции» с экономическим развитием общества, чтобы дать материалистическое об'яснение наиболее, повидимому, неожиданным успехам военного дела. Сам Руссе очень недалек от такого об'яснения. Исторический очерк новейшего искусства, делаемый им на основании неизданных работ ген. Банналя, очень похож на тот, который мы находим в указаниях Энгельса. Местами сходство приближается к полному тожеству.

Сказать, что такие-то народы или племена были завоеваны другими народами, еще не значит об'яснить, почему социальные последствия их завоевания были именно такие, а не какие-нибудь другие. Социальные последствия завоевания Галлии римлянами были совсем не те, которые получились от завоевания той же страны германцами. Социальные последствия завоевания Англии норманнами были совсем не те, которые произошли от завоевания России монголами. Во всех этих случаях разница обусловливалась в последней инстанции различием в экономическом строе общества, подвергавшегося завоеванию, с одной стороны, и общества совершавшего это завоевание—с другой. Чем более развиваются производительные силы данного племени или народа, тем более увеличивается для него, по крайней мере, возможность лучше вооружить себя для борьбы за существование.

Однако это общее правило допускает много достойных замечания исключений. На нисших стадиях развития производительных сил разница в вооружении племен, находящихся на весьма различных стадиях экономического развития, — например: кочующих пастухов и оседлых земледельцев, — не может быть такой большою, какою она становится впоследствии. Кроме того, движение по пути экономического развития, оказывая существенное влияние на характер данного народа, иногда до такой степени уменьшает его воинственность, что он становится не в силах сопротивляться более отсталому в экономическом отношении, но зато более привычному к войне неприятелю. Вот почему мирные земледельческие племена нередко подвергаются завоеванию со стороны воинственных народов. Ратцель замечает, что самые прочные государственные организации получаются у „полукультурных народов“ в результате соединения,—путем завоевания,—обоих этих элементов: земледельческого и пастушеского [1]). Как ни справедливо, в общем, это замечание, надо, однако, помнить, что

[1]) Там же, Z. 19.

даже и в таких случаях, — хороший тому пример Китай, — экономически отсталые завоеватели мало-по-малу вполне подчиняются влиянию более развитого в экономическом отношении завоеванного народа.

Географическая среда имеет большое влияние не только на первобытные племена, но также и на так-называемые культурные народы. „Необходимость установить общественный контроль над известной силой природы для ее эксплоатации в больших размерах, для ее подчинения человеку посредством организованных человеческих усилий, — говорит Маркс, — играет самую решительную роль в истории промышленности. Таково было значение регулирования воды в Египте, в Ломбардии, в Голландии или в Персии и в Индии, где орошение посредством искусственных каналов приносит земле не только необходимую воду, но в то же время ее ил, минеральное удобрение с гор. Тайна промышленного процветания Испании и Сицилии при арабах заключается в канализации“ [1]).

Учение о влиянии географической среды на историческое развитие человечества часто сводилось к признанию непосредственного влияния „климата“ на общественного человека: предполагалось, что одна „раса“ становилась под влиянием „климата“ свободолюбивой; другая — склонной терпеливо подчиняться власти более или менее деспотического монарха; третья — суеверной и потому зависимой от духовенства и т. п. Такой взгляд преобладает, например, еще у Бокля [2]). По Марксу, географиче-

[1]) Das Kapital, ibid. S. 524—526.

[2]) См. его „History of civilization in England“, vol. I, Leipzig, 1865 pp. 36—37. По Боклю, одна из четырех причин, влияющих на склад народного характера, — „общий вид страны“. (the general Aspect of Nature), влияет главным образом на воображение, а сильно развитое воображение порождает суеверия, которые, в свою очередь, замедляют развитие знаний. Частые землетрясения в Перу, повлияв на воображение туземцев, оказали свое влияние и на политический строй. Если испанцы и итальянцы суеверны, то это происходит опять-таки от землетрясения и вулканических извержений (там же, стр. 112—113). Это непосредственно-психологическое влияние особенно сильно на первых стадиях культурного развития. Но современная наука устанавливает, наоборот

ская среда влияет на человека через посредство производственных отношений возникающих в данной местности на основе данных производственных сил, первым условием развития которых являются свойства этой среды. Современная этнология все более и более переходит на эту точку зрения. И сообразно с этим, все меньшая и меньшая роль в истории „культуры" отводится ею „расе". „Обладание известными культурными приобретениями не имеет ничего общего с расой" говорит Ратцель.

Но раз достигнуто данное „культурное" состояние, оно, несомненно, влияет на физические и психические свойства „расы" [1]).

Влияние географической среды на общественного человека представляет собою переменную величину. Обусловливаемое свойствами этой среды развитие производительных сил увеличивает власть человека над природой и тем самым ставит его в новое отношение к окружающей его географической среде; нынешние англичане реагируют на эту среду совсем не так, как реагировали на нее племена, населявшие Англию во время Юлия Цезаря. Этим окончательно устраняется то возражение, что характер населения данной местности может существенно измениться, несмотря на то, что ее географические свойства остаются неизменными.

VIII.

Порождаемые данной экономической структурой правовые и политические отношения [2]) оказывают решительное влияние на всю психику общественного человека. Маркс говорит: „На различных фор-

---

поразительное сходство религиозных верований первобытных племен, находящихся на одинаковой ступени экономического развития. Взгляд Бокля, заимствованный этим последним от писателей XVIII века, был высказан еще Гиппократом. (См. «Des aires, des laut et des lieux, traduktion de Coray», Paris, 1800, паргр. 76, 85, 85, 88 и т. д.).

[1]) О расе см. интересную работу Ж. Фино: «Le préjugé des races». Paris, 1905.

[2]) О влиянии экономики на склад общественных отношений, см. Энгельса: „Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staats",

мах общественности, на общественных условиях существования возвышается целая надстройка различных своеобразных чувств и иллюзий, взглядов и понятий". Бытие определяет собою мышление. И можно сказать, что каждый новый шаг, делаемый наукой в об'яснении процесса исторического развития, является новым доводом в пользу этого основного положения новейшего материализма.

Уже в 1877 г. Людвиг Нуаре: „Язык и жизнь разума вытекли из совместной деятельности, направленной к достижению общей цели, из первобытной работы наших предков" [1]). Развивая далее эту замечательную мысль, Л. Нуаре указал на то, что первоначально язык обозначает предметы об'ективного мира не как имеющие известный образ, а как получившие таковой (nicht als Gestalten, sondern als gestaltete), не как активные, оказывающие известное действие, а как пассивные, подвергающиеся действию [2]). И он поясняет это тем справедливым соображением, что „все предметы входят в поле зрения человека, т.-е. делаются для него вещами лишь в той мере, в какой они подвергаются его воздействию, и сообразно с этим они получают свои обозначения, т.-е. имена" [3]). Короче, человеческая деятельность, по мнению Нуаре, дает содержание первоначальным корням языка [4]). Интересно, что Нуаре, находил первый зародыш своей теории в той мысли Фейербаха, что сущность человека состоит в общественности, в единстве человека с человеком. О Марксе он, повидимому, не

---

achte Auflage, Stutgart, 1900; P. Гильденбранда: «Recht und Sitte auf verschiedenen Kulturstufen, 1-er Th. lena, 1896; к сожалению, Гильденбранд плохо владеет экономическим материалом. Интересная брошюра T. Ахелиса: «Rechtsentstehung und Rechtsgeschichte.» Leipzig, 1904, рассматривая право, как продукт развития общественной жизни, не углубляет вопроса о том, чем обусловливается развитие этой последней. В книге M. A. Ваккоро: «Les bases sociologiques du droit et de l'état», Paris, 1898, рассыпано немало отдельных замечаний, проливающих свет на некоторые стороны предмета; но в общем Ваккоро сам еще не разобрался в вопросе.

[1]) «Der Ursprung der Sprache», Mainz, S. 331.

[2]) Ibid., S. 341.

[3]) S. 347.

[4]) S. 369.

знал ничего, в противном случае он увидел бы, что его взгляд на роль деятельности в образовании языка ближе к Марксу, оттенявшему в своей гносеологии человеческую деятельность в противоположность Фейербаху, говорившему преимущественно о „созерцании".

Едва ли нужно напоминать по поводу теории Нуаре, что характер деятельности людей в процессе производства определяется состоянием их производительных сил. Это очевидно. Полезнее будет отметить, что решающее влияние бытия на мышление особенно ясно видно у первобытных племен, общественная и умственная жизнь которых несравненно проще, нежели жизнь цивилизованных народов. Фон-Де-Штейцен пишет о туземцах центральной Бразилии, что мы поймем их только тогда, когда будем их рассматривать, как создание (Erzeugniss) охотничьего быта. „Главнейшим источником их опыта были животные,—продолжает он,—и с помощью этого опыта... они, главным образом, и об'ясняли себе природу, составляли свое миросозерцание"[1]). Условия охотничьего быта определяли собою не только миросозерцание этих племен, но также их нравственные понятия, их чувства и даже, замечает тот же писатель, эстетические вкусы. И совершенно то же мы видим у пастушеских племем. У тех из них, которых Ратцель называет односторонними скотоводами, „предметом, по крайней мере, 90% всех их разговоров является скот с его происхождением, привычками, достоинствами и недостатками"[2]). Такими „односторонними скотоводами" были, например, несчастные герреро, с такой зверской жестокостью „усмиренные" недавно „цивилизованными" германцами[3]).

---

[1]) «Unter den Natur-Yölkern Zentral-Brasiliens», Berlin, 1894, S. 201.

[2]) Ibid., S. 205—206.

[3]) Об «одчосторонних пастухах» см. особечно книгу Фритша: «Eingeborene Süd-Afrikans», Breslau, 1872. Фритш говорит: «Идеал каффра, предмет, о котором он мечтает и который он с любовью воспевает в своих песнях, это—его скот, т.-е. самое ценное его имущество. С песнями в честь скота чередуются песни в честь начальника племени, в которых его скот опять играет большую роль» (1, 50). Уход за скотом

Если главнейшим источником опыта были у первобытного охотника животные, и если все его миросозерцание строилось на этом опыте, то неудивительно, что и вся мифология охотничьих племен, заменяющая собою на этой ступени и философию, и теологию, и науку, почерпает свое содержание из того же источника. „Что характеризует собою мифологию бушменов,—говорит Эндрью Ланг,—так это почти исключительная роль, которую играют в ней животные. Кроме одной старухи, там и сям появляющейся в их бессвязных легендах, в этих мифах вряд ли когда-нибудь выступает человек" [1]). По словам Бр. Смита, боги австралийцев,—подобно бушменам, еще не вышедшим из охотничьего быта,—преимущественно птицы и животные [2]).

Религия первобытных племен изучена пока еще недостаточно хорошо. Но то, что мы уже знаем о ней, безусловно подтверждает правильность того краткого положения Фейербаха-Маркса, что „не религия делает человека, а человек делает религию". Эд. Тэйлор говорит: „Очевидно, что у всех народов типом божества служил человек: вследствие этого строй человеческого общества и его правительство становятся образцом, согласно которому создается небесное общество и небесное правительство [3]). Это уже несомненно материалистический взгляд на религию: известно, что еще Сен-Симон держался противоположного взгляда, об'ясняя общественный и политический строй древних греков их религиозными

считается у каффров самым почетным занятием (1, 85), и даже война нравится каффру, главным образом, потому, что сулит ему в виде добычи приобретение скота (I, 79). «Тяжбы вызываются у каффров столкновениями из-за скота» (I, 322). У того же Фритша есть очень интересное описание быта охотников-бушменов (I, 424 и след.).

[1]) «Mythes, cultes et religion», trad. par de Charillet. Paris, 1896, p. 322.

[2]) Тут надо помнить то замечание Рих. Андрэе, что первоначально человек воображает своих богов в виде животных. «Когда, впоследствии начинается антропоморфизация животных, возникают мифические превращения людей в животных» (Ethnographische Parallele und Vergleiche. Neue Fölker, Leipzig, 1889, S. 116). Антропоморфизация животных предполагает уже сравнительно более высокую ступень развития производительных сил. Ср. также Фробениуса: «Die Weltanschauung der Naturvölcer», Weimar, 1898, S. 24.

[3]) «La Civilisation primitive», Paris. 1876. tome II, p 322.

верованиями. Но еще гораздо важнее то, что наука уже начинает обнаруживать причинную связь между развитием техники у первобытных народов и их миросозерцанием[1]). С этой стороны ей, очевидно, предстоят богатейшие открытия.

Из идеологии первобытного общества лучше других изучено теперь искусство. В этой области собран богатейший материал, самым недвусмысленным и самым убедительным образом свидетельствующий о правильности и, так сказать, неизбежности материалистического об'яснения истории. Этот материал так велик, что мы можем перечислить здесь лишь главнейшие из относящихся сюда сочинений: Schweinfurth, „Artes Afrikanae", Leipzig, 1875; R. Andree „Etrhano raphisthe Parallele", статья: „Das Zeichnen bei den Naturvölkern"; Von den Steinen, „Unter den Naturvölkern Zentral Brasiliens", Berlin, 1894; G. Malleru, „Picture, Writing of the amerikan Indians". Än, Rep. of the Bureau of Ethnology, Washington, 1893; Hoernes, Urgeschichte der bildenden Kunst in Europa", Wien, 1898; Ernst Grosse, „Die Anfänge der Kunst"; его же „Kunstwissenschaftliche Studien", Tübingen, 1900; Yrjö Hirn, „Der Ursprung der Kunst", Leipzig, 1904; Karl Bücher, „Arbeit und Rhytmus", dr. Aufl., 1902; Gabriel et Adr. de Mortillet, „Le Prehistorique", Paris, 1900, pp. 217—230; Hoernes, „Der diluviale Mench in Europa", Braunschweig, 1903; Sophus Müller, „l'Europe prèhistorique" trad. du danois par Em. Philipot, Paris, 1907; Rich. Wallaschek, „Änfange der Tonkunst", Leipzig, 1903.

Каковы те выводы, к которым пришла современная наука по вопросу о возникновении искусства, покажут следующие положения из перечисленных нами авторов. Горнес говорит [2]): „Орнаментика может развиваться только из промышленной деятельности, которая представляет собою ее вещественную предпосылку, народы, совсем не знающие промышленности... не знают и орнаментики". Фонден-Штейнен считает, что рисование (Zeichnen)

[1]) Ср. Г. Шурца: «Vorgeschichte der Kultur». Leipzig und Wien, 1900, S. 559—564. Ниже мы, по другому поводу, еще вернемся к этому вопросу.
[2]) «Urgeschichte» etc., s. 38.

развилось из обозначения предметов (Zeichnen) с практическими целями. Бюхер пришел к тому заключению, что „работа, музыка и поэзия на первоначальной ступени развития сливаются в одно, но что основным элементом этой троицы была работа, между тем как музыка и поэзия имели лишь второстепенное значение". По его мнению, „происхождение поэзии надо искать в труде". Он замечает, что ни один язык не располагает слова, составляющие предложение, в ритмическом порядке. Невероятно потому, чтобы люди пришли к размеренной поэтической речи путем употребления своего обыденного языка: этому противилась внутренняя логика этого языка. Как же об'яснить происхождение размеренной ритмической речи? Бюхер предполагает, что размеренные ритмические движения тела сообщили образной поэтической речи законы своего сочетания. Это тем более вероятно, что на низших ступенях развития эти ритмические движения обыкновенно сопровождаются пением. Но чем же об'ясняется сочетание телодвижения? Характером производительных процессов. Таким образом, „тайна" стихосложения лежит в производительной деятельности[1]).

Р. Валлашек так формулирует свой взгляд на происхождение сценических представлений у первобытных племен[2]): „Предметами этих представлений были:

„1. Охота, война, гребля (у охотников: жизнь и привычки животных; животные пантомимы; маски)[3]).

„2. Жизнь и привычки скота (у пастушеских народов).

„3. Работа (у земледельцев: посев, молотьба, уход за виноградниками).

„В представлении участвовало все племя, которое при этом пело (хор). Распевались лишенные смысла слова: содержание давалось именно представлением (пантомимой). Изображались только действия обыденной жизни абсолютно необходи-

[1]) Назв соч., стр. 342 и след.
[2]) Назв. соч., стр. 257.
[3]) Изображающие обыкновенно тоже животных. *Г. П.*

мые в борьбе за существование". Валлашек говорит, что у многих первобытных племен при таких представлениях хор делился иногда на две противостоящие одна другой части. „Таков был,—прибавляет он,—первоначальный вид греческой драмы, которая прежде тоже была животной пантомимой. Животным, игравшим наибольшую роль в хозяйственной жизни греков, была коза" (слово трагедия и происходит от tragos—козел).

Трудно придумать более яркую иллюстрацию к тому положению, что не бытие определяется мышлением, а мышление—бытием!

IX.

Но хозйственная жизнь развивается под влиянием роста производительных сил. Поэтому изменяются взаимные отношения людей в процессе производства, а с ними и человеческая психика. Маркс говорит: „На известной ступени своего развития производительные силы общества вступают в противоречие с существующими в этом обществе производственными отношениями или, выражая то же самое юридическим языком, с имущественными отношениями, внутри которых они до тех пор развивались. Из форм, содействовавших развитию производительных сил, эти отношения превращаются в препятствие для их развития. Тогда наступает эпоха социальной революции. С изменением экономической основы изменяется более или менее быстро вся возвышающаяся над ней огромная надстройка. Ни одна общественная формация не исчезает раньше, чем разовьются все производительные силы, которым она предоставляет достаточно простора, и новые высшие производственные отношения никогда не занимают места старых раньше, чем выработаются в недрах старого общества материальные условия их существования [1]). Поэтому можно сказать, что человечество всегда ставит себе лишь исполнимые задачи, ибо при внимательном рассмотрении всегда оказывается, что самая задача

[1]) Известно, что у нас осенью 1905 года некоторые марксисты рассуждали не так...

является лишь там, где материальные условия и ее решения уже существуют или находятся в процессе своего возникновения.

Тут мы имеем перед собой настоящую,—и при том чисто материалистическую,—„алгебру" общественного развития. В этой алгебре есть место как для „скачков"—эпохи социальных революций,—так и для постепенных изменений. Постепенные количественные изменения в свойствах данного порядка вещей ведут, наконец, к изменению качества, т.-е. к падению старого способа производства,—или, как выражается здесь Маркс, старой общественной формации,—и к замене его новым. По замечанию Маркса, восточный, античный, феодальный и современный нам буржуазный способы производства могут быть рассматриваемы, в общих чертах, как последовательные („прогрессивные") эпохи экономического развития общества. Но надо думать, что когда Маркс ознакомился впоследствии с книгой Моргана о первобытном обществе, то он, вероятно, изменил свой взгляд на отношение античного способа производства к восточному. В самом деле, логика экономического развития феодального способа производства привела к социальной революции, знаменовавшей собою торжество капитализма. Но логика экономического развития, например, Китая или древнего Египта, вовсе не вела к появлению античного способа производства. В первом случае речь идет о двух фазах развития, одна из которых следует за другою и порождается ею. Второй же случай представляет нам скорее два сосуществующих типа экономического развития. Античное общество сменило собою родовую общественную организацию, и та же организация предшествовала возникновению восточного общественного строя. Каждый из этих двух типов экономического устройства явился, как результат того роста производительных сил в недрах родовой организациии, который, в конце концов, неизбежно должен был привести ее к разложению. И если эти два типа весьма значительно отличаются один от

другого, то их главные отличительные черты сложились под влиянием географической среды, в одном случае предписывавшей обществу, достигшему известной ступени роста производительных сил, одну совокупность производственных отношений, а в другом — другую, весьма отличную от первой.

Открытию родовой организации, очевидно, суждено сыграть такую же роль в общественной науке, какую сыграло в биологии открытие клеточки. И пока Маркс и Энгельс не были знакомы с этой организацией, в их теории общественного развития не могли не оставаться значительные пробелы, как это и признал впоследствии сам Энгельс.

Но открытие родовой организации, впервые давшее ключ к пониманию низших стадий общественного развития, явилось только новым и могучим доводом в пользу материалистического об'яснения истории, а не против него. Оно дало возможность гораздо лучше всмотреться в то, как складываются первые фазы общественного бытия, и каким образом общественное бытие определяет собою тогда общественное мышление. Но этим оно придало поразительную ясность той истине, что общественное мышление определяется общественным бытием.

Впрочем, это мимоходом. Главное, на что нужно здесь обращать внимание,—это указание Маркса на то, что имущественные отношения, сложившиеся на данной ступени роста производительных сил, в продолжение некоторого времени способствуют дальнейшему росту этих сил, а потом начинают мешать ему[1]). Это напоминает нам о том,

[1]) Возьмем то же рабство. На известной ступени оно способствует росту производительных сил, а потом начинает препятствовать ему. Его исчезновение у культурных народов Запада является следствием их экономического развития. (О рабстве в античном мире см. интересную работу профессора Эт. Чиккоти: «Il tramonto della Schiavitù», Turino, 1899). Дж. Г. Спик (Speke) в «Les sourses du Nil», Paris, 1865, p. 21, говорит, что среди негров рабы считают бесчестным и постыдным делом побег от хозяина, заплатившего за них деньги. К этому надо прибавить, что те же рабы считают свое положение более почетным, нежели положение наемного работника. Такой взгляд соответствует той фазе, «когда рабство остается еще прогрессивным явлением».

что, хотя данное состояние производительных сил служит причиной, вызывающей данные производственные, и, в частности, имущественные отношения, но, раз возникли эти последние, как следствие указанной причины, они начинают влиять на эту причину с своей стороны. Таким образом получается взаимодействие между производительными силами и общественной экономией. А так как на экономической основе вырастает целая надстройка общественных отношений, чувств и понятий, причем эта надстройка тоже сначала способствует, а потом препятствует экономическому развитию, то между надстройкой и основой тоже возникает взаимодействие, заключающее в себе полную разгадку всех тех явлений, которые на первый взгляд кажутся противоречащими основному положению исторического материализма.

Все, что сказано до сих пор „критиками" Маркса о мнимой односторонности марксизма и об его будто бы пренебрежении ко всем другим „факторам" общественного развития, кроме экономического, подсказывалось простым непониманием той роли, какая отводится у Маркса-Энгельса взаимодействию между „основанием" и „надстройкой". Чтобы убедиться, например, в том, как мало игнорировали Маркс и Энгельс значение политического фактора, достаточно прочитать те страницы „Коммунистического манифеста", где говорится об освободительном движении буржуазии. Там сказано:

„Буржуазия которая представляла собою то угнетенное под игом феодалов сословие, то вооруженную и самоуправляющуюся ассоциацию в городской коммуне; буржуазия, которая здесь была независимой городской республикой, там третьим податным сословием монархического государства; которая явилась затем противовесом дворянству и в монархии абсолютной или ограниченной сословным представительством,—буржуазия, вообще, послужившая главной основой больших монархий, завоевала себе, наконец, с появлением крупной промышленности и всемирного рынка исключительную политическую

власть в новейшем конституционном государстве. Современная государственная власть есть не более, как комитет, выбранный для заведывания общественными делами буржуазии".

Значение политического „фактора" обнаружено здесь с достаточной,—некоторые „критики" сами находили даже, что с преувеличенной,—ясностью. Но происхождение и сила этого „фактора", равно как и способ его действия в каждый данный период развития буржуазии, сами об'ясняются в „Манифесте" ходом экономического развития, вследствие чего разнообразие „факторов" нимало не нарушает единства коренной причины.

Политические отношения, несомненно, влияют на экономическое движение; но также несомненно и то, что прежде чем влиять на него, они им создаются.

То же надо сказать и о психике общественного человека, о том, что Штаммлер несколько односторонне называет общественными понятиями. „Манифест" дает весьма убедительное доказательство того, что его авторы хорошо понимали значение идейного „фактора". Но в том же „Манифесте" мы видим, что если идейный „фактор" играет важную роль в развитии общества, то он сам предварительно создается этим развитием.

„Когда древний мир пришел в упадок, древние религии были побеждены христианством. Когда христианские идеи уступали место просветительным идеям XVIII века, феодальное общество вело борьбу на жизнь и смерть с революционной тогда буржуазией". Но еще убедительнее в этом случае последняя глава „Манифеста". Его авторы говорят в ней, что их единомышленники стремятся выработать в умах рабочих как можно более ясное сознание враждебной противоположности интересов буржуазии и пролетариата. Всякому понятно, что кто не придает значения идейному „фактору", у того нет никакого логического повода стремиться к выработке в умах какой бы то ни было общественной группы какого бы то ни было сознания.

X.

Мы потому цитируем „Манифест“ предпочтительно перед другими сочинениями Маркса-Энгельса, что он относится к той ранней эпохе их деятельности, когда они, по уверению некоторых из их „критиков“, были особенно „односторонни“ в понимании взаимного отношения между „факторами“ общественного развития. Мы ясно видим, что и в эту эпоху они отличались не „односторонностью“, а только стремлением к монизму, отвращением к тому эклектизму, который так явственно сказывается в замечаниях гг. „критиков“.

Нередко указывают на два письма Энгельса, напечатанных в „Sozialistische Akademiker“ и написанных—одно в 1890, а другое—1894 г. Г. Бернштейн с радостью ухватился когда-то за эти письма, будто бы содержащие в себе ясное свидетельство об эволюции, совершившейся с течением времени в воззрениях друга и единомышленника Маркса. Он сделал из них две, по его мнению, наиболее убедительные выписки, которые мы считаем нужным воспроизвести здесь, так как они доказывают совершенно обратное тому, что хотел доказать г. Бернштейн.

Вот первая из них: „Таким образом, имеются бесчисленные взаимно скрещивающиеся силы, бесконечная группа параллелограмов сил, дающих равнодействующую,—историческое событие,—которая сама опять может рассматриваться, как продукт силы, работающей в целом, без сознания и воли, ибо то, чего хочет каждый в отдельности, встречает себе помеху со стороны всех других, и то, что получается, есть нечто, чего не желал никто“ (письмо 1890 г.).

А вот вторая выписка: „Политическое, правовое, философское, религиозное, литературное, художественное и проч. развитие покоится на экономическом. Но все они реагируют одно на другое и на экономический базис“ (письмо 1894 г.). Г. Бернштейн нашел, „что это звучит несколько иначе“, чем пре-

дисловие к „Zur Kritik der politischen Oekonomie", указывающее на связь экономической „основы" с воздвигающейся на ней „надстройкой". Но почему же иначе? Здесь повторяется именно то, что сказано в названном предисловии: политическое и всякое другое развитие покоится на экономическом. Г. Бернштейна, очевидно, сбили с толку слова: „но все они реагируют одно на другое и на экономический базис". Предисловие к „Zur Kritik" было, очевидно, понято самим г. Бернштейном несколько иначе, т.-е. в том смысле, что вырастающая на экономической „основе" общественная и идеологическая „надстройка" никакого обратного влияния на эту „основу" не оказывает. Но мы уже знаем, что нет ничего ошибочнее такого понимания мысли Маркса, и людям, наблюдавшим „критические" опыты г. Бернштейна, оставалось только пожимать плечами, видя, что человек, бравшийся когда-то за популяризацию марксизма, не дал себе труда,—или, вернее оказался неспособным,—предварительно понять это учение.

Во втором из цитированных г. Бернштейном писем есть места, едва ли не гораздо более важные для выяснения причинного смысла исторической теории Маркса-Энгельса, нежели так плохо понятые г. Бернштейном, воспроизводимые нами строки. Одно из этих мест гласит: „Значит, это надо понимать не так, как понимают иные, т.-е. что автоматически действует само экономическое положение, а так, что люди сами делают свою историю, но делают ее в данной среде, определяющей их собою (in einem gegebenen sie bedingenden Milien). на основе данных фактических отношений, между которыми экономические отношения,—как ни сильно влияние, испытываемое ими со стороны отношений политических и идеологических,—все-таки оказываются, в последнем счете, наиболее влиятельными, образуя ту красную нить, которая проходит через все остальные отношения и которая одна только и ведет нас к пониманию".

К числу „иных" людей, истолковывающих историческое учение Маркса-Энгельса в том смысле, что

в истории „автоматически действует само экономическое положение", принадлежал, как мы это видим теперь, сам г. Бернштейн в эпоху своего „ортодоксального" настроения и до сих пор принадлежат многие и многие „критики" Маркса, давшие задний ход „от марксизма к идеализму". Эти глубокомысленные люди обнаруживают большое самодовольство, открывая и ставя на вид „односторонним" Марксу и Энгельсу то соображение, что история делается людьми, а не автоматическим движением экономики. Они бьют Марксу челом его же добром и в своей невероятной наивности даже и не подозревают, что „Маркс", которого они „критикуют", не имеет ничего общего, кроме имени, с настоящим Марксом, будучи создан их собственным и по истине разносторонним непониманием предмета. Естественно, что „критики" такого калибра были совершенно неспособны „дополнить" и „исправить" что-нибудь в историческом материализме. Поэтому мы и не будем больше заниматься ими, предпочитая иметь дело с „основоположниками" этой теории.

Чрезвычайно важно заметить, что когда Энгельс, уже незадолго до своей смерти, отвергал „автоматическое" понимание исторического действия экономики, он только повторял—почти в тех же самых словах—и пояснял то, что написал Маркс уже в 1845 г. в приведенном нами выше третьем тезисе о Фейербахе. Маркс упрекал там предшествовавший ему материализм в забвении того, что „если, с одной стороны, люди представляют собою продукт обстоятельств, то с другой—обстоятельства изменяются именно людьми". Задача материализма в области истории—как понимал эту задачу Маркс,—заключалась, стало-быть именно в том, чтобы об'яснить, каким образом „обстоятельства" могут изменяться теми людьми, которые сами создаются обстоятельствами. И эта задача решалась указанием на производственные отношения, складывающиеся под влиянием условий, от человеческой воли независящих. Производственные

отношения, это—отношения людей в общественном процессе производства. Сказать, что изменились производственные отношения, значит сказать, что изменились взаимные отношения между людьми в названном процессе. Изменение этих отношений не может совершаться „автоматически", т.-е. независимо от человеческой деятельности, потому что эти отношения являются отношениями, устанавливающимися между людьми в процессе их деятельности.

Но эти отношения могут изменяться, — и очень часто действительно изменяются,—вовсе не в том направлении, в котором люди хотели бы изменить их. Характер „экономической структуры" и то направление, в котором изменяется этот характер зависят не от воли людей, а от состояния производительных сил и от того, какие именно изменения в производственных отношениях возникают и становятся нужными для общества, вследствие дальнейшего развития этих сил. Энгельс поясняет это следующими словами: „Люди сами делают свою историю, но они до сих пор делали ее, — даже внутри отдельных обществ, — не по общей воле и не по общему плану. Их стремления взаимно перекрещивались, и именно потому во всех таких обществах царствует необходимость, дополнением и внешней формой проявляния которой служит случайность". Человеческая деятельность сама определяется здесь не как свободная, а как необходимая, т.-е. как законосообразная, т.-е. как могущая стать об'ектом научного исследования. Таким образом, исторический материализм, не переставая указывать на то, что обстоятельства изменяются людьми, в то же время впервые дает нам возможность взглянуть на процесс этого изменения с точки зрения науки. И вот почему мы имеем полное право сказать, что материалистическое об'яснение истории дает необходимые пролегомены для всякого такого учения о человеческом обществе, которое захочет выступить как наука.

Это до такой степени верно, что уже и в настоящее время любое исследование той или другой стороны общественной жизни приобретает научное значение лишь в той мере, в какой оно приближается к ее материалистическому об'яснению. И такое об'яснение,—несмотря на пресловутое „воскресение идеализма" в общественных науках,—все более и более становится обычным там, где исследователи не предаются назидательным размышлениям и разглагольствованиям об „идеале", а ставят себе научную задачу обнаружения причинной связи явлений. Материалистами оказываются теперь в своих исторических исследованиях даже такие люди, которые не только не разделяют материалистического взгляда на историю, но просто-на-просто не имеют о нем ровно никакого понятия. И тут их незнакомство с этим взглядом или их предубежденние против него мешающее всестороннему его пониманию, действительно приводят к тому, что следует назвать односторонностью и узостью понятий.

XI.

Вот хороший пример. Десять лет тому назад известный французский ученый Альфред Эспинас,—кстати сказать, большой враг современных социалистов,—опубликовал чрезвычайно интересный, по крайней мере, по замыслу, „социологический этюд". „Les origines de la technologie", в котором он, исходя из того чисто материалистического положения, что в истории человечества практика всегда предшествует теории, рассматривает влияние техники на развитие идеологии, т.-е. собственно религии и философии в античной Греции. Вывод получается у него тот, что каждый данный период этого развития миросозерцания древних греков определялось состоянием их производительных сил. Это, конечно, очень интересный и важный результат. Но человек, привыкший сознательно применять материализм к об'яснению исторических явлений, ознакомившись с „Этюдом" Эспинаса,

наверно, найдет выраженный в нем взгляд односторонним. И это по той простой причине, что французский ученый почти совсем не обратил внимания на другие „факторы" развития идеологии: например, на классовую борьбу. А между тем этот „фактор" имеет поистине колоссальное значение.

В первобытном обществе, не знающем разделения на классы, производительная деятельность человека непосредственно влияет на его миросозерцание и на его эстетический вкус. Орнаментика берет свои мотивы у техники, а пляска,—едва ли не самое важное искусство в таком обществе,—нередко ограничивается простым воспроизведением производительного процесса. Это особенно заметно у охотничьих племен, стоящих на самой низкой из всех доступных нашему наблюдению ступеней экономического развития [1]). Потому-то мы и ссылались, главным образом, на них, когда речь шла у нас о зависимости психики первобытного человека от его хозяйственной деятельности. Но в обществе, разделенном на классы, непосредственное влияние этой деятельности на идеологию становится гораздо менее заметным. Оно и понятно. Если, например, один из видов пляски у австралийской женщины-туземки воспроизводит работу собирания ею кореньев, то само собою разумеется, что ни один из тех изящных танцев, которыми развлекались, например, французские светские красавицы XVIII века, не мог быть изображением производительного труда этих дам, ибо никаким производительным трудом они и не занимались, отдаваясь преимущественно „науке страсти нежной". Чтобы понять танец австралийской туземки, достаточно знать, какую роль играет собирание женщинами корней дико растущих растений в жизни австралийского племени. А чтобы понять, скажем, менуэт, совершенно недостаточно знания экономики Франции XVIII столетия. Тут нам при-

[1]) Охотникам предшествовали собиратели — Sammelvölker, как выражаются теперь немецкие ученые. Но все известные нам дикие племена уже превзошли эту ступень.

ходится иметь дело с танцем, выражающим собою психологию непроизводительного класса. Психологией этого рода об'ясняется огромное большинство „обычаев и приличий" так-называемого порядочного общества. Стало-быть, экономический „фактор" уступает здесь честь и место психологическому. Но не забывайте, что само появление непроизводительных классов в обществе есть продукт его экономического развития. Значит, экономический „фактор" вполне сохраняет свое преобладающее значение, даже и уступая честь и место другим. Напротив, тогда-то и дает себя чувствовать это значение, потому что тогда им определяются возможность и пределы влияния других „факторов" [1]).

Но это еще не все. Высший класс даже тогда, когда он принимает в качестве руководителя участие в производительном процессе, смотрит на низший с нескрываемым пренебрежением. Это тоже отражается на идеологиях обоих классов. Французские средневековые fabliaux — а особенно les chansons de gestes — изображают тогдашнего крестьянина в самом непривлекательном виде. Если верить им, то:

Li vilaen sont de laide forme
Ainc si tres laide ne vit home;
Chaucuns a XV piez de granz
En auques ressemblent jâianz.

---

[1]) Вот пример из другой области: «фактор населения», как выражается А. Кост (см. его «Les facteurs de population dans l'évolution sociale», Paris, 1910), бесспорно оказывает очень большое влияние на общественное развитие. Но Маркс совершенно прав, говоря, что абстрактные законы размножения существуют только для животных и растений. Рост (или убыль) населения в человеческом обществе зависит от устройства этого общества, которое определяется его экономической структурой. Никакой „абстрактный закон размножения" ничего не об'яснит нам в том факте, что население современной Франции почти не увеличивается. Очень ошибаются те социологи и экономисты, которые видят в росте населения коренную причину общественного развития (см. А. Лориа: «La legge di popolazione ed il sistema sociale», Siena, 1882).

Mais trop sont de laide maniere.
Boçu sont devant et derriere [1]).

А крестьяне, разумеется, смотрели на себя другими глазами; возмущаясь высокомерием феодалов, они пели:

Мы такие же люди, как они,
И так же способны страдать, как они,
и т. д.

И они спрашивали: „Где был дворянин в то время, когда Адам пахал, а Ева пряла?". Словом, каждый из этих двух классов смотрел на вещи со своей собственной точки зрения, особенности которой обусловливались его положением в обществе. Борьба классов окрашивала собою психологию борющихся сторон. И так было, конечно, не только в средние века и не только во Франции. И чем более обострялась классовая борьба в данной стране и в данное время, тем сильнее становилось ее влияние на психологию борющихся классов. Кто хочет изучать историю идеологий в обществе, разделенном на классы, тому необходимо внимательно считаться с этим влиянием. Иначе он ничего не поймет. Попробуйте дать непосредственное экономическое об'яснение факту появления школы Давида во французской живописи XVIII века: у вас ровно ничего не выйдет, кроме смешного и скучного вздора; но попробуйте взглянуть на эту школу, как на идеологическое отражение классовой борьбы во французском обществе накануне Великой Революции, и дело сейчас же примет совершенно другой оборот: вам станут вполне понятны даже такие качества живописи Давида, которые, казалось бы, так далеки от общественной экономии, что ничем не могут быть связаны с нею.

---

[1]) Мужики все уроды,
Таких не видел человек,
Длиной в 15 футов каждый.
Иные точно великаны,
Но очень безобразны:
И спереди, и сзади горб.

Ср. „Les classes rurales et le regime domanial en France au moyen âge", par Henri Sée, Paris, 1904, p. 554.

То же приходится сказать и об истории идеологий в древней Греции: она испытала на себе глубочайшее влияние классовой борьбы. И вот это-то влияние и было слишком мало оттенено в интересном этюде Эспинаса, вследствие чего его важные выводы получили односторонний характер. Таких примеров можно было бы немало привести уже в настоящее время, и все они показывали бы, что влияние материализма Маркса на многих из нынешних специалистов было бы как нельзя более благотворно в том смысле, что оно научило бы их принимать во внимание другие „факторы", кроме технического и экономического. Это похоже на парадокс; но это—неоспоримая истина, которая перестанет удивлять нас, если мы вспомним, что хотя у Маркса всякое общественное движение об'ясняется экономическим развитием общества, но оно очень часто об'ясняется им лишь в последнем счете, т.-е. предполагает промежуточное действие целого ряда разных других „факторов".

XII.

Начинает обнаруживаться теперь в современной науке и другая тенденция, прямо противоположная той, которую мы только что видели у Эспинаса! Тенденция об'яснять историю идей исключительным влиянием классовой борьбы, эта совершенно новая и пока еще мало выразившаяся тенденция возникла под прямым влиянием Марксова исторического материализма. Мы видим ее в сочинениях грека А. Элевферопулоса, главный труд которого: „Wirthschaft und Philosophie". I. „Die Philosophie und die Lebensauffassung des Griechenthums auf Grund der gesellschaftlichen Zustände"; и II. „Die Philosophie und die Lebensauffassung der germanisch-römischen Völker", вышел в Берлине в 1900 году. Элевферопулос убежден, что в философии всякого данного времени выражаются свойственные ему „миросозерцание и взгляды на жизнь" (Lebens und Weltanschauung). Собственно, это не ново. Еще

Гегель говорил, что всякая философия есть лишь идейное выражение своей эпохи. Но у Гегеля свойства различных эпох, а, следовательно, и соответствующих им фаз развития философии, определялись движением абсолютной идеи, между тем, как у Элевферопулоса всякая данная эпоха характеризуется прежде всего соответствующим ей экономическим состоянием. Экономика всякого данного народа определяет собою его „жизне- и миропонимание", которое выражается между прочим и в философии. С изменением экономической основы изменяется также идеологическая надстройка. А так как экономическое развитие ведет к разделению общества на классы и к их борьбе, то свойственное данной эпохе „жизне- и миропонимание" не имеет единообразного характера: оно различно у различных классов и видоизменяется сообразно их положению, их нуждам, их стремлениям и ходу их взаимной борьбы.

Такова та точка зрения, с которой смотрит Элевферопулось на всю историю философии. Нечего и говорить о том, что эта точка зрения заслуживает величайшего внимания и полнейшего одобрения. В философской литературе давно уже замечалась неудовлетворенность обычным взглядом на историю философии, как на простую филиацию философских систем. В брошюре, вышедшей в конце восьмидесятых годов и посвященной вопросу о том, как изучать историю философии, известный французский писатель Пикавэ прямо говорил, что такая филиация сама по себе об'ясняет очень немногое [1]). Появление книги Элевферопулоса можно было бы приветствовать, как новый шаг в изучении истории философии и как торжество исторического материализма в его приложении к одной из наиболее отдаленных от экономии идеологий. Но, увы, Элевферопулос не показал большого искусства в обращении с диалектическим методом этого материализма. Он донельзя упростил ставшие перед ним за-

[1]) „L'histoire de la philosophie, ce qu'elle a été, ce qu'elle peut-être", Paris, 1888.

дачи и уже по одному этому не мог найти для них других решений, кроме очень односторонних, а, стало-быть, и очень неудовлетворительных. Возьмем хоть Ксенофана. По словам Элевферопулоса, Ксенофан явился философским выразителем стремлений греческого пролетариата. Это—Руссо своего времени [1]). Он стремился к общественной реформе в смысле равенства и единства всех граждан и его учение о том, что бытие едино, было лишь теоретическим обоснованием его реформаторских планов [2]). Из этого теоретического фундамента реформаторских стремлений Ксенофана логически выросли все частности его философии, начиная с его взгляда на божество и кончая учением об обманчивости представлений, получаемых нами с помощью внешних чувств [3]).

Философия Гераклита Темного порождена была аристократической реакцией против революционных стремлений греческого пролетариата. Всеобщее равенство невозможно: сама природа делает людей неравными. Каждый должен быть доволен своей судьбой. В государстве нужно стремиться не к ниспровержению существующего порядка, а к устранению произвола, который возможен как при господстве немногих, так и при господстве массы. Власть должна принадлежать закону, в котором выражается божественный закон. Божественный закон не исключает единства; но единство, согласное с ним, есть единство противоположностей. Поэтому, осуществление планов Ксенофана было бы нарушением божественного закона. Развивая и обосновывая далее эту мысль, Гераклит создал свое диалектическое учение о становлении (Werden) [4]).

Так говорит Элевферопулос. Недостаток места не позволяет нам приводить другие образчики делаемого им анализа причин, определивших собою развитие философии. Да это едва ли и нужно. Чи-

---

[1]) Цит. соч., I, стр. 98.
[2]) Там же, стр. 99.
[3]) Там же, I, 99—101.
[4]) Там же. I. стр. 103—107.

татель, надеемся, и сам видит, что этот анализ должен быть признан неудачным. Процесс развития идеологий вообще несравненно сложнее, чем это представляется Элевферопулосу [1]). Читая его донельзя упрощенные соображения о влиянии борьбы классов на историю философии, начинаешь жалеть о том, что ему, как видно, осталась совсем неизвестной названная нами выше книга Эспинаса: односторонность, свойственная этой книге, будучи сложена с его собственной односторонностью, может быть многое исправила бы в его анализе.

Как бы там, однако, ни было, а неудачная попытка Элевферопулоса все-таки является новым свидетельством в пользу того,—для многих неожиданного, — положения, что более основательное усвоение исторического материализма Маркса полезно было бы многим нынешним последователям именно для предохранения их от односторонности. Элевферопулос знаком с этим материализмом. Но он плохо знаком с ним. Это доказывается той будто бы поправкой, которую он считает нужным внести в него.

Он замечает, что экономические отношения данного народа обусловливают собою лишь „необходимость его развития"; само же развитие является делом индивидуальности, так что „жизнеи миропонимание" этого народа определяется в своем содержании, во-первых, его характером и характером обитаемой им страны, во-вторых, его нуждами, а, в-третьих, личными особенностями тех людей, которые выступают в его среде, как реформаторы. Только в этом смысле и можно говорить, по замечанию Элевферопулоса, об отношении философии к экономии. Философия исполняет требования своего времени, она исполняет их сообразно личности философа.

---

[1]) Мы уже не говорим о том, что в своих ссылках на экономику древней Греции, Элевферопулос не дает никакого конкретного представления о ней, ограничиваясь общими местами, которые здесь, как и везде, ничего не об'ясняют.

Элевферопулос полагает, должно быть, что этот его взгляд на отношения философии к экономии представляет собою нечто особенное сравнительно с материалистическим взглядом Маркса-Энгельса. Он считает нужным дать своему об'яснению истории новое имя, называя его греческой теорией становления (griechische Theorie des Werdens [1]). Это просто забавно, и по этому поводу можно сказать только одно: „греческая теория становления", являющаяся на самом деле ничем иным, как довольно плохо переваренным и довольно нескладно изложенным историческим материализмом, все-таки обещает значительно больше, чем дает Элевферопулос, переходя от характеристики своего метода к пользованию им: тогда он уже совсем уходит от Маркса.

Что касается собственно „личности философа" и вообще всякого деятеля, оставляющего свой след в истории человечества, то весьма ошибаются те, которые воображают, будто теория Маркса-Энгельса не оставила для нее места. Место для нее она оставила; но она сумела и в то же время избежать непозволительного противопоставления деятельности „личности" ходу событий, определяемому экономической необходимостью. Кто прибегает к такому противопоставлению, тот тем самым доказывает, что он очень мало понял в материалистическом об'яснении истории. Коренное положение исторического материализма гласит, как мы повторяли уже не раз, что история делается людьми. А если она делается людьми, то ясно, что она делается, между прочим, и „великими людьми". Остается только уяснить себе, чем же определяется деятельность этих людей. По этому поводу Энгельс говорит в одном из двух выше нами цитированных писем:

„Что в данной стране в данное время выступает такой человек и притом именно этот, а не другой,—это, конечно, чистая случайность. Но если бы мы устранили этого человека, то явился бы

[1]) Там же, I, стр. 17.

спрос на его заместителя, и заместитель нашелся бы tant bien que mal, но все таки нашелся бы, в конце-концов. Случайностью было то, что именно корсиканец Наполеон оказался тем военным диктатором, появление которого стало неизбежно в истощенной своими войнами французской республике. Но если бы не было Наполеона, то его место занял бы другой; это доказывается тем, что подходящий человек находился всякий раз, когда в нем была нужда: Цезарь, Август, Кромвель и т. д. Если Маркс открыл материалистическое об'яснение истории, то из примера Тьерри, Минье, Гизо и всех английских историков, до 1850 г. видно, что дело шло именно к этому, а открытие того же об'яснения Морганом доказывает, что время для него созрело, и что оно должно было быть открыто. И так со всеми другими случайностями или кажущимися случайностями в истории. Чем дальше отстоит исследуемая нами область от экономии и чем более она принимает отвлеченно-идеологический характер, тем чаще мы будем встречаться в ее развитии с случайностями, тем более зигзагообразной становится кривая линия ее движения. Но начертите среднюю ось этой кривой и вы найдете, что чем длиннее рассматриваемый вами период и чем обширнее исследуемая вами область, тем более приближается эта ось к тому, чтобы стать параллельной с осью экономического развития" [1]).

„Личность" всякого данного выдающегося работника в области духовного или общественного развития принадлежит к числу тех случайностей, появление которых нисколько не мешает „средней" линии умственного развития человечества итти параллельно с его экономическим развитием [2]). Элевферопулос лучше уяснил бы себе это, если бы внимательнее вдумывался в историческую теорию Маркса и поменьше заботился о том, чтобы соз-

---

[1]) „Der Sozialistische Akademiker", Berlin, 1895, № 20, S. 374.

[2]) Ср. нашу статью „К вопросу о роли личности в истории" в нашей книге „За двадцать лет". (См. в приложении).

дать свою собственную „греческую теорию“ [1]).

Излишне и прибавлять, что мы далеко не всегда умеем в настоящее время открыть причинную связь появления данного философского взгляда с экономическим состоянием его эпохи. Но ведь мы только еще начинаем работать в этом направлении, а если бы мы уже могли дать ответ на все возникающие здесь вопросы,—или хотя только на большинство их,—то наша работа была бы уже окончена или близилась бы к своему концу. Решающее значение имеет в этом случае не то, что мы еще не умеем справиться со всеми трудностями, встречающимися нам в этой области,—нет и не может быть такого метода, который разом устранил бы в науке все трудности,—а то, что материалистическое об'яснение истории несравненно легче справляется с ними, нежели идеалистическое и эклектическое. А что это так, достаточной порукой тому служит тот факт, что научная мысль в области истории в самом деле чрезвычайно сильно тяготела к материалистическому об'яснению явлений, так сказать настойчиво искала его, начиная с эпохи реставрации [2]), и не перестала тяготеть к нему, искать его до настоящего времени, несмотря на то благородное негодование, в которое приходит всякий уважающий себя идеолог буржуазии, когда слышит слово: материализм.

Третьим примером того, как неизбежны теперь попытки материалистического об'яснения всех сторон человеческой культуры, может служить работа Франца Фейергерда (Feuerherd): „Die Entstehung der Stile aus der politischen Oekonomie“; erster Theil, Leipzig 1902. Фейергерд говорит: „Сообразно господствующему способу производства и той форме государства, которая им обусловливается, рассудок людей направляется в

---

[1]) Он назвал „свою“ теорию греческой потому, что, по его словам, „ее основные положения были высказаны греком Фалесом, а развиты греком“... (назв. соч., стр. 17), т.-е. Элевферопулосом.

[2]) Об этом см. в нашем предисловии ко второму изданию нашего перевода „Манифеста“.

известные стороны и остается недоступным для других. Поэтому, существование каждого стиля (в искусстве. Г. П.) предполагает существование таких людей, которые живут при вполне определенных политических условиях, производят при вполне определенных отношениях производства и имеют совершенно определенные идеалы"[1]). „Когда даны эти причины, тогда люди создают соответствующий им стиль с такою же естественною необходимостью и неизбежностью, с какой происходит процесс беления холста, чернеет бромистое серебро и в облаках появляется пышная радуга, как только солнце, как причина, вызывает все эти следствия"[2]). Это, конечно, так, и очень интересно то обстоятельство, что это признается историком искусства. Но когда Фейергерд переходит к об'яснению происхождения различных греческих стилей экономическим состоянием древней Греции, у него получается нечто слишком схематичное. Мы не знаем, вышла ли вторая часть его работы: мы не интересовались этим, потому что для нас было ясно, как плохо владеет он современным материалистическим методом этих учений. По своей схематичности, его рассуждения напоминают рассуждения наших доморощенных Фриче и Рожковых, которым, как и ему, надо пожелать прежде всего и больше всего изучения современного материализма. Только марксизм может спасти всех их от схематизма.

XIII.

Покойный Ник. Михайловский утверждал когда-то в споре с нами, что историческая теория Маркса никогда не получит широкого распространения в ученом мире. Мы только что видели и еще увидим ниже, что это не совсем верно. Но сначала нам нужно устранить еще некоторые другие недоразумения, препятствующие правильному пониманию исторического материализма.

---

[1]) Назв. соч., стр. 19.
[2]) Там же. стр. 19—20.

Если бы мы захотели кратко выразить взгляд Маркса-Энгельса на отношение знаменитого теперь „основания“ к не менее знаменитой „надстройке“, то у нас получилось бы вот что:

1) состояние производительных сил;

2) обусловленные им экономические отношения;

3) социально-политический строй, выросший на данной экономической „основе“;

4) определяемая частью непосредственно экономикой, а частью всем выросшим на ней социально-политическим строем, психика общественного человека;

5) различные идеологии, отражающие в себе свойства этой психики.

Эта формула достаточно широка, чтобы дать надлежащее место всем „формам“ исторического развития, и вместе с тем совершенно чужда того эклектизма, который не умеет пойти дальше взаимодействия между различными общественными силами и даже не подозревает, что факт взаимодействия между этими силами еще вовсе не решает вопроса об их происхождении. Это монистическая формула. И эта монистическая формула насквозь пропитана материализмом. Гегель говорил в своей „Философии духа“: „Дух есть единственный двигательный принцип истории“. Иначе и нельзя думать, держась точки зрения того идеализма, согласно которому бытие обусловливается мышлением. Материализм Маркса показывает, каким образом история мышления обусловливается историей бытия. Но идеализм не мешал Гегелю признавать действие экономики, как причины „опосредствованной развитием духа“; и точно так же материализм не помешал Марксу признать в истории действие „духа“ как силы, направление которой определяется в каждое данное время и в последнем счете ходом развития экономики.

Что все идеологи имеют один общий корень: психологию данной эпохи, это понять нетрудно, и в этом убедится всякий, кто хоть бегло

ознакомится с фактами. Укажем для примера хоть на французский романтизм. Виктор Гюго, Эжень Делякруа и Гектор Берлиоз работали в трех совершенно различных областях искусства. И все они были довольно далеки друг другу. По крайней мере, Гюго не любил музыки, а Делякруа пренебрежительно относился к музыкантам - романтикам. И все-таки этих трех замечательных людей справедливо называют романтической троицей. В их произведениях отразилась одна и та же психология. Можно сказать, что в картине Делякруа „Дант и Виргилий" сказалось то же самое настроение, которое продиктовало Гюго его „Эрнани", а Берлиозу — его „Фантастическую симфонию". И это чувствовали их современники, т.-е. те из них, которые вообще не были беззаботны насчет литературы и искусства. Классик по своим вкусам, Энгр, называл Берлиоза „отвратительным музыкантом, чудовищем, разбойником, антихристом[1]). Это напоминает лестные отзывы классиков о Делякруа, кисть которого они величали пьяной метлою. Известно, что Берлиозу приходилось выдерживать, подобно Гюго, настоящие битвы[2]). Известно также, что ему с несравненно большим трудом и гораздо позже, нежели Гюго, досталась победа. Почему это было так, несмотря на то, что в его музыке выражалась та же самая психология, что и в романтической поэзии и драме? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно было бы выяснить себе многие такие частности в сравнительной истории французской музыки и литературы[3]), которые, может быть, надолго,—если не навсегда,—останутся невыясненными. Но что не подлежит ни малей-

---

[1]) См. „Souvenirs d'un Hugolâtre" par Augustin Challamel, Paris, 1885, p. 259. В этом случае Энгр обнаружил больше последовательности, чем Делякруа, который будучи романтиком в живописи, сохранил пристрастие к класическесской музыке.

[2]) Ср. Шаламеля, наз. соч., стр. 258.

[3]) А главное—в истории той роли, которую играла каждая из них, как выразительница настроений своей эпохи. Известно, что в различные эпохи выступают на первый план различные идеологии и различные идеологические отрасли: богословие в средние века играло гораздо более важную роль, нежели теперь; пляска в первобытном обществе—самое важное искусство, а теперь далеко нет, и т. д.

шему сомнению, так это то, что психология французского романтизма станет нам понятной только тогда, когда мы взглянем на нее как на психологию опред ленного класса, находившегося в определенных общественных и исторических условиях [1]). Ж. Тьерсо говорит: „Движение тридцатых годов в литературе и искусстве далеко не имело характера народной революции [2]). Это безусловно верно: названное движение было буржуазным по своему существу. Но и это еще не все. В среде самой буржуазии оно совсем не пользовалось всеобщим сочувствием. По мнению Тьерсо, оно выражало собою стремления небольшой кучки „избранных", обладавшей достаточной проницательностью для того, чтобы уметь открывать гений там, где он скрывался [3]). Этими словами поверхностно, — т.-е. по-идеалистически,—констатируется тот факт, что тогдашняя французская буржуазия не понимала значительной части того, к чему стремились и что чувствовали тогда в литературе и в искусстве ее же собственные идеологи. Подобный разлад между идеологами и тем классом, стремление и вкусы которого они выражают, вообще не редкость в истории. Им об'ясняются весьма многие особенности в умственном и художественном развитии человечества. В интересующем нас случае разлад вызвал, между прочим, то пренебрежительное отношение „тонко" чувствующей „elite" к „тупым буржуа", которое и до сих пор вводит в заблуждение наивных людей, решительно неспособных понять, благодаря

---

[1]) У Шено (Les chefs d'école, Paris, 1883, pp. 378—379) есть очень тонкое замечание о психологии романтиков. Он указывает на то, что романтизм явился после революции и империи. „В литературе и в искусстве совершился кризис, подобный тому, который произошел в нравах после террора, настоящая оргия чувств. Люди пережили чувство страха; потом их страх прошел и они предались наслаждению жить. Внешние явления, внешние формы исключительно привлекали к себе внимание. Голубое небо, яркий свет, женская красота, пышный бархат, цветовые переливы шелка, блеск золота, огонь бриллиантов,—все это доставляло наслаждение. Люди жили глазами, они перестали думать". Тут много похожего на психологию переживаемого нами момента в России. Но и тут и там ход событий, вызвавший это настроение, сам был вызван ходом экономического развития.

[2]) „Hector Berlios et la société de son temps", Paris, 1904, p. 190.

[3]) Там же, та же стр.

ему, архи-буржуазный характер романтизма[1]). Но здесь, как и везде, происхождение и характер такого разлада можеть быть об'яснен в последнем счете только экономическим положением и экономической ролью того общественного класса, в среде которого он проявился. Здесь, как и везде, только бытие проливает свет на „тайны" мышления. И вот почему здесь,—опять, как и везде,—только материализм способен дать научное об'яснение хода идей".

XIV.

Пытаясь об'яснить этот ход, идеалисты никогда не умели внимательно взглянуть с точки зрения „хода вещей". Так, Тэн об'ясняет произведения искусства свойствами окружающей художника среды. Какими же свойствами? Психологическими, т.-е. той общей психологией данного времени, свойства которой сами нуждаются в об'яснении[2]). Материализм, об'ясняя психологию данного общества или класса, апеллирует к общественной структуре, создаваемой экономическим развитием, и т. д. А Тэн, который был идеалистом, об'яснял общественной психологией происхождение общественного строя и потому запутался в безвыходных противоречиях. Идеалисты всех стран не любят теперь Тэна. Понятно почему: под средой он понимает общую психологию массы, психологию „среднего человека" данного времени и данного класса, и эта психология является у него последней инстанцией, к которой может апеллировать исследователь. Вследствие этого у него выходит, что „великий" человек всегда мыслит и чувствует по указке „среднего" человека, под диктовку „посредственностей". А это и фак-

---

[1]) Тут то же самое qui qro quo, которое делает поистине забавными нападающих на буржуазию сторонников архи-буржуазного Ницше.

[2]) «L'oeuvre d'art,—говорит он,—est déterminée par un ensemble, qui est l'état général de l'esprit et des moeurs environnantes».

«Произведение искусства определяет совокупность условий, в которых выражается общее состояние духа и нравов данной среды».

тически не верно, да и обидно для буржуазных „интеллигентов", всегда склонных хоть немножечко причислять себя к категории великих людей. Тэн был тот человек, который, сказав А, оказался не в силах произнести Б, и тем испортил свое собственное дело. Из противоречий, в которых он запутался, нет выхода помимо исторического материализма, отводящего надлежащее место и „личности", и „среде", и средним людям, и великим „избранникам судьбы".

Не лишено будет интереса то замечание, что во Франции, которая начиная с средних веков и до 1871 года включительно, была той страной, где общественно-политическое развитие и взаимная борьба общественных классов приняли наиболее типичный для Западной Европы характер, легче всего обнаружить причинную связь между названным развитием и названной борьбой, с одной стороны, и историей идеологий—с другой.

Говоря о причине распространения идей теократической школы философии истории в эпоху французской реставрации. Р. Флинт замечает: „Успех подобной теории остался бы, однако, необъяснимым если бы путь для нее не был подготовлен сенсуализмом Кондильяка и если бы она не была так очевидно направлена на служение интересам той теории, которая представляла мнения широкого класса французского общества прежде и после реставрации[1]). Это, конечно, так. И легко понять, какой именно класс нашел в теократической школе идеологическое выражение своих интересов. Но сделаем еще шаг в глубь французской истории и спросим себя: нельзя ли открыть также общественные причины успеха сенсуализма в до-революционной Франции? Не было ли умственное движение, выдвинувшее теоретиков сенсуализма, в свою очередь, выражением стремлений какого-нибудь общественного класса? Известно, что было: это движение выражало освободительные стремления французского „среднего сословия". Если бы

[1]) «The philosophy of history in France and Germany», p. 149.

мы пошли еще дальше в том же направлении, то мы увидели бы, что, например, философия Декарта очень ярко отражает в себе нужды экономического развития и соотношение общественных сил своего времени[1]). Наконец, если бы мы дошли до XIV столетия и обратили свое внимание, например, на рыцарские романы, имевшие большой успех при тогдашнем французском дворе и в среде тогдашней французской аристократии, то мы опять без труда открыли бы, что эти романы были зеркалом жизни и вкусов только что названного нами сословия[2]). Словом, в этой замечательной стране, еще так недавно имевшей полное право говорить о себе, что она „шествует во главе народов", кривая линия умственного движения направляется параллельно кривой линии экономического и обусловленного им социально-политического развития. В виду этого история идеологии во Франции имеет особенную ценность для социологии.

Ни о чем этом не имели никакого представления господа, на разные лады „критиковавшие" Маркса. Они не догадались, что хотя критика есть, разумеется, прекрасное дело, но критиковать надо умеючи, т.-е. п о н и м а я т о, ч т о к р и т и к у е ш ь. Критиковать данный метод научного исследования значит определять, насколько он пригоден для обнаружения причинной связи явлений. Определить же это можно только посредством опыта, т.-е. путем применения этого метода. Критиковать исторический материализм значит попробовать воспользоваться методом Маркса-Энгельса при изучении исторического движения человечества. Только таким образом и можно обнаружить сильные и слабые стороны этого метода. The proof of the pudding is in thelating, сказал Энгельс, поясняя свою теорию познания. Это остается вполне верным и в

---

[1]) Ср. G. Lanson, «Histoire de la literature française», Paris. 1896, стр. 394—397, где недурно выяснена связь некоторых сторон философии Декарта с психологией господствующего класса во франции первой половины XVIII века.

[2]) О значении этих романов, Сисмонди («Histoire des Français», T. X, p. 59) высказал интересное мнение, дающее материал д л я с о ц и о л о г и ч е с к о г о и з у ч е н и я п о д р а ж а н и я.

применении к историческому материализму. Чтобы критиковать это блюдо, надо его отведать. Чтобы отведать метод Маркса-Энгельса, надо уметь пользоваться им. А умелое пользование им предполагает несравненно более серьезную научную подготовку и гораздо более упорную работу мысли, нежели псевдо-критические разглагольствования на тему об „односторонности марксизма".

„Критики" Маркса отчасти с сожалением, отчасти с упреком, отчасти с злорадством говорят, что до сих пор нет такой книги, которая давала бы теоретическое оправдание историческому материализму. Под книгой понимают обыкновенно что-то в роде краткого руководства по всемирной истории с материалистической точки зрения. Но в настоящее время такое руководство не может быт написано ни отдельным ученым,—как бы ни были обширны его сведения,—ни целой группой ученых. Для него нет и долго еще не будет достаточного материала. Этот материал может быть накоплен только путем длинного ряда частных исследований, обрабатывающих соответствующие области науки с помощью Марксова метода. Иначе сказать, „критики", требующие „книги", хотели бы, чтобы дело началось с конца, т.-е. чтобы об'яснен был предварительно с материалистической точки зрения тот исторический процесс, который собственно и подлежит об'яснению. На самом деле „книга" в защиту исторического материализма пишется именно в той мере, в какой современные исследователи—чаще всего, как мы сказали, вовсе этого не сознавая—вынуждаются всем современным состоянием общественной науки давать материалистическое об'яснение изучаемых ими явлений. А что таких ученых теперь уже не мало, достаточно убедительно показывают хотя бы указанные нами выше примеры.

Лаплас говорит, что после великого открытия Ньютона прошло около пятидесяти лет, прежде чем сделано было какое-нибудь важное дополнение к нему. Все это время нужно было этой великой истине, чтоб быть всеми понятой и чтобы преодо-

леть те препятствия, которые ей ставились теорией вихрей, а, может быть, также и самолюбием современных Ньютону математиков [1]).

Препятствия, встречаемые современным материализмом,—как стройной и последовательной теорией,—несравненно больше, нежели те, с которыми встретилась при своем появлении теория Ньютона; против него прямо и решительно восстает интерес господствующего теперь класса, а влиянию этого последнего по необходимости подчиняется огромнейшее большинство нынешних ученых. Материалистическая диалектика, „ни перед чем не склоняющаяся и рассматривающая вещи с их переходящей стороны", не может пользоваться симпатиями консервативного класса, каким является теперь буржуазия на Западе. Она до такой степени противоречит настроению этого класса, что естественно представляется его идеологам чем-то непозволительным, неприличным, недостойным ни „порядочных людей" вообще, ни „почтенных" мужей науки в частности [2]). Неудивительно, что каждая из ученых почтенностей считает себя нравственно обязанной отклонять от себя всякое подозрение в сочувствии к материализму. И очень нередко бывает так, что эти почтенности тем решительнее отрекаются от него, чем упорнее они придерживаются в своих специальных исследованиях материалистической точки зрения [3]). Тут получается какая-то полубессознательная „услов-

---

[1]) „Exposition du système du monde". Paris. L'an IV, T. II, pp. 291—292.

[2]) Об этом см., между прочим, в выше названной статье Энгельса „Ueber den historischen Materialismus".

[3]) Вспомните, с каким жаром оправдывался от упрека в материализме Лампрехт; ср. также как оправдывается от него Ратцель („Die Erde und das Leben", S. 631). А между тем тот же Ратцель пишет: „Сумма культурных приобретений каждого данного народа на каждой данной ступени его развития составляется из материальных и духовных элементов... Они приобретаются неодинаковыми средствами, с неодинаковым трудом и неодновременно... В основе духовных приобретений лежат материальные. Духовная деятельность является, как роскошь, лишь после удовлетворения материальных потребностей. Поэтому, все вопросы о происхождении культуры сводятся к вопросу о том, что содействует развитию материальных основ культуры" (Völkerbund, I Band, I Auflage, S. 17). Это—самый недвусмысленный исторический материализм, только гораздо менее продуманный и потому не такой высокопробный, как материализм Маркса-Энгельса.

ная ложь", могущая иметь, конечно, только самое вредное влияние на теоретическую мысль.

XV.

„Условная ложь" общества, разделенного на классы, тем больше разрастается, чем более расшатывается под влиянием экономического развития и вызываемой им классовой борьбы существующий порядок вещей. Маркс весьма справедливо сказал, что чем более развивается противоречие между растущими производительными силами и существующим общественным строем, тем более пропитывается лицемерием идеология господствующего класса. И чем более обнаруживает жизнь лживость этой идеологии, тем возвышеннее и нравственнее становится язык этого класса („Sankt Max". Documente des Sozialismus, August 1904, S. 370—371). Справедливость этой мысли особенно ярко бросается в глаза теперь, когда, например, в Германии распространение разврата, разоблаченного процессом Гардена-Мольтке, идет рука об руку с „возрождением идеализма" в общественной науке. А у нас даже в среде „теоретиков пролетариата" являются люди, не понимающие общественной причины этого „возрождения" и сами подчиняющиеся его влиянию: Богдановы, Базаровы и им подобные...

Впрочем, преимущества, даваемые всякому исследователю методом Маркса, так безмерно велики, что их начинают во всеуслышание признавать даже люди, охотно подчиняющиеся „условной лжи" нашего времени. К числу таких людей принадлежит, например, американец Зелигмэн, автор вышедшей в 1909 г. книги „The economic interpretation of histroy". Зелигмэн откровенно признает, что ученых отпугивали от теории исторического материализма делаемые из нее Марксом социалистические выводы. Но он находит, что можно накормить козу и сохранить капусту, „можно быть экономическим материалистом" и, однако, оставаться противником социализма. „Тот факт, что экономические взгляды Маркса были ошибочны—говорит он—не имеет ни-

какого отношения к истинности или ложности его философии истории" [1]). В действительности, экономические взгляды Маркса были теснейшим образом связаны с его историческими взглядами. Чтобы хорошо понять „Капитал", безусловно необходимо сначала хорошо вдуматься в знаменитое предисловие к „Zur Kritik der politischen Oekonomie". Но мы не можем здесь ни излагать экономические взгляды Маркса, ни выяснять то, не подлежащее, однако, ни малейшему сомнению обстоятельство, что они представляют собой лишь необходимую составную часть учения, называемого историческим материализмом [2]). Прибавим только, что Зелигмэн — достаточно „почтенный" человек для того, чтобы пугаться также материализма. Этот экономический „материалист" считает непозволительною крайностью стремление об'яснять „религию и даже христианство" экономическими причинами [3]). Все это ясно показывает, как глубоко коренятся те предрассудки, а следовательно и те препятствия, с которыми приходится бороться теории Маркса. И все-таки самый факт появления книги Зелигмена и даже самый характер делаемых им оговорок дают некоторое основание надеяться, что исторический материализм—хотя бы и в укороченном, „очищенном" виде,—добьется, наконец, признания со стороны тех идеологов буржуазии, которые не совсем еще покинули всякую заботу о приведении в порядок своих исторических воззрений [4]).

---

[1]) Назв. соч., стр. 24 и 109.

[2]) Впрочем, вот два слова в из'яснении сказанного. По Марксу «экономические категории представляют собою лишь теоретические отвлеченные выражения общественных отношений производства». («Нищета философии», часть вторая, «замечание» второе). Это значит, что Маркс и на категории политической экономии смотрит с точки зрения тех взаимных отношений людей в общественном процессе производства, развитием которых об'ясняется у него в основных чертах историческое движение человечества.

[3]) Там же, стр. 57.

[4]) Чрезвычайно поучительно следующее сопоставление. По словам Маркса, материалистическая диалектика, об'ясняя существующее об'ясняет также и его неизбежное уничтожение. И в этом он видит ее достоинство, ее прогрессивное значение. А Зелигмэн говорит: «Социализм есть теория, относящаяся к тому, что должно быть; исторический материализм есть теория, относящаяся к тому, что было» (там же, стр. 108). И только на этом основании он считает для себя возможным защищать исторический материализм. Другими словами, это озна-

Но борьба с социализмом, материализмом и прочими неприятными крайностями предполагает наличность известного „духовного оружия". Духовным оружием, употребляемым в борьбе с социализмом, служит теперь, главным образом, так-называемая субъективная политическая экономия и более или менее удачно насилуемая статистика. В борьбе с материализмом главной твердыней являются всевозможные разновидности кантианства. В области общественной науки кантианство утилизируется для этой цели, как учение дуалистическое, разрывающее связь между бытием и мышлением. Так как рассмотрение экономических вопросов в наш план не входит, то мы ограничимся оценкой философского духовного оружия буржуазной реакции в области идеологий.

Заканчивая свою брошюру „Развитие научного социализма", Энгельс замечает, что, когда созданные капиталистической эпохой могучие средства производства перейдут в общественную собственность и когда производство будет организовано сообразно общественным потребностям, тогда люди станут, наконец, господами своих общественных отношений, а тем самым сделаются господами природы и самих себя. Только тогда они начнут сознательно делать свою историю; только тогда приводимые ими в действие общественные причины будут вызывать все в большей мере желательные для них действия. „Это будет скачок человечества из царства необходимости в царство свободы".

Эти слова Энгельса вызвали возражения со стороны тех, которые, вообще не переваривая „скачков", никак не могли или не хотели понять „скачка" из царства необходимости в царство свободы. Такой „скачок" казался им даже противоре-

---

чает, что можно игнорировать этот материализм, поскольку он об'ясняет неизбежное уничтожение существующего и пользоваться его методом для об'яснения того, что существовало. Это одна из многих разновидностей «двойной бухгалтерии» в идеологической области,— бухгалтерии, тоже порождаемой экономическими причинами.

чащим тому взгляду на свободу, который высказан был тем же Энгельсом в первой части „Анти-Дюринга". Поэтому, чтобы разобрать, в чем тут была у них путаница, мы вынуждены припомнить, что собственно высказал там Энгельс.

А высказал он там вот что. Поясняя слова Гегеля: „Необходимость слепа лишь поскольку она остается непонятой", он утверждал, что свобода состоит „в господстве над природой и над самим собой,—господстве, основанном на познании естественной необходимости" [1]). Энгельс развил эту мысль с ясностью, вполне достаточной для людей, знакомых с тем учением Гегеля, на которое он ссылался. Но в том-то и беда, что современные кантианцы Гегеля только „критикуют", а изучать не изучают: не зная Гегеля, они не могли понять и Энгельса. Они возражали автору „Анти-Дюринга", что нет свободы там, где есть подчинение необходимости. И это было вполне последовательно со стороны людей, философские взгляды которых насквозь пропитаны д у а л и з м о м, не умеющим соединять мышление с бытием. С точки зрения этого дуализма „скачок" из необходимости в свободу действительно остается совершенно непонятным. Но философия Маркса,—так же как и философия Фейербаха,—провозглашает единство бытия и мышления. И хотя она,—как мы уже видели выше, говоря о Фейербахе,—понимает это единство совсем иначе, нежели понимал его абсолютный идеализм, но в интересующем нас вопросе об отношении свободы к необходимости она совсем не расходится с учением Гегеля.

Все дело в том, что именно понимать под н е о б х о д и м о с т ь ю. Еще Аристотель [2]) показал, что понятие необходимости имеет много оттенков: необходимо принять лекарство, чтобы выздороветь: необходимо дышать, чтобы жить; необходимо с'ездить в Эгину, чтобы получить долг. Это, так сказать, у с л о в н а я необходимость: мы д о л ж н ы

---

[1]) «Herrn Eugen Dühring's Umwälzung der Wissenschaft», fünfte Auflage, S. 113.

[2]) Метафизика, V, V.

дышать, если мы хотим жить; должны принимать лекарство, если хотим отделаться от болезни, и т. д. С необходимостью этого рода человек постоянно имеет дело в процессе своего воздействия на внешний мир; ему необходимо посеять хлеб, если он хочет получить жатву; необходимо спустить стрелу, если он хочет убить зверя; необходимо запастись топливом, если он хочет привести в действие паровую машину, и т. д. Становясь на точку зрения неокантианской „критики Маркса" надо признать, что и в этой условной необходимости есть элемент подчинения; человек был бы свободнее, если бы он мог удовлетворять свои потребности, вовсе не затрачивая никакого труда; он всегда подчиняется природе, даже заставляя ее служить ему. Но это его подчинение ей является условием его освобождения: подчиняясь ей, он тем самым увеличивает свою власть над нею, т.-е. свою свободу. То же было бы и при планомерной организации общественного производства. Подчиняясь известным требованиям технической и экономической необходимости, люди положили бы конец тому нелепому порядку, при котором над ними господствуют их собственные продукты, т.-е. в огромной степени увеличили бы свою свободу. Его подчинение и тут стало бы источником его освобождения.

Это не все. Привыкнув думать, что мышление отделено целой пропастью от бытия, „критики" Маркса знают только один оттенок необходимости: они,—скажем опять словами Аристотеля,—представляют себе необходимость лишь как силу, препятствующую нам поступать согласно нашему желанию и вынуждающую нас делать то, что противоречит ему. Такая необходимость в самом деле противоположна свободе и не может не быть для нас более или менее тяжелой. Но и тут не надо забывать, что сила, представляющаяся человеку внешней силой принуждения, идущего вразрез с его желанием, может при других обстоятельствах представляться ему в совершенно дру-

гом свете. Возьмем для примера наш современный аграрный вопрос. Умному помещику — кадету „принудительное отчуждение земли“ может казаться более или менее — т.-е. обратно пропорционально величине „справедливого вознаграждения“, — печальной исторической необходимостью. А вот крестьянину, стремящемуся достать „землицы“, более или менее печальною необходимостью будет представляться, наоборот, только это „справедливое вознаграждение“, а само „принудительное отчуждение“ непременно покажется ему выражением его свободной воли и самым драгоценным обеспечением его свободы.

Говоря это, мы касаемся, может быть, самого важного пункта в учении о свободе, — пункта, не упомянутого Энгельсом, конечно, только потому, что человеку, прошедшему школу Гегеля, этот пункт понятен и без всяких пояснений.

В своей философии религии Гегель говорит: „Die Freiheit ist dies Nichts, zu wollen als sich“[1]), т.-е. „свобода состоит в том, чтобы не желать ничего, кроме себя“. И это замечание проливает чрезвычайно яркий свет на весь вопрос о свободе, поскольку он касается общественной психологии: крестьянин, требующий передачи ему помещичьей „землицы“, не хочет „ничего кроме себя“. А вот помещик-кадет, соглашающийся уступить ему эту „землицу“, тот, хочет уже „не себя“, а того, к чему вынуждает его история. Первый свободен; второй — разумно подчиняется необходимости.

С пролетариатом, обращающим средства производства в общественную собственность и организующим на новых началах общественное производство, было бы то же, что с крестьянином: он ничего не хотел бы, „кроме себя“. И он чувствовал бы себя вполне свободным. Ну, а что касается капиталистов, то те, конечно, в лучшем случае чувствовали бы себя в положении помещика, принимающего кадетскую аграрную программу: они не мог-

[1]) Hegel's Werke; 12 Band, S. 98

ли бы не находить, что иное дело—свобода, а иное дело—историческая необходимость.

Нам сдается, что „критики", возражавшие Энгельсу, не понимали его, между прочим, и потому, что они могли мысленно войти в такое положение капиталиста, но никак не могли вообразить себя „в коже" пролетариев. И мы полагаем, что на это тоже была своя социальная, в последней инстанции, экономическая причина.

XVI.

Дуализм, к которому склоняются теперь идеологи буржуазии, делает еще другой упрек историческому материализму. В лице Штаммлера, он упрекает его в том, что он будто бы совсем не считается с социальной теологией. Этот второй упрек, находящийся, впрочем, в самом тесном родстве с первым, так же неоснователен, как и первый.

Маркс сказал: „чтобы производить, люди вступают в определенные взаимные отношения". Штаммлер ссылается на это положение, как на доказательство того, что сам Маркс, вопреки своей теории, не мог избежать телеологических соображений. Слова Маркса означают, по его мнению, что люди сознательно вступают в те взаимные отношения, без которых невозможно производство. Значит, эти отношения являются продуктом целесообразного действия [1]).

Нетрудно заметить, в каком именно месте этого рассуждения Штаммлер делает логическую ошибку, налагающую свою печать на все его дальнейшие критические замечания.

Возьмем пример. Дикари-охотники преследуют данное животное, скажем—слона. Для этого они собираются вместе и известным образом организуют свои силы. Где здесь цель? Где средство? Цель, очевидно, заключается в поимке или в убий-

---

[1]) „Wirtschaft und Recht", zweite Auflage, S. 421.

стве слона; а средством служит преследование животного соединенными силами. Чем подсказывается цель? Потребностями человеческого организма. Чем определяется средство? Условиями охоты. Зависят ли от воли человека потребности его организма? Нет, не зависят, да и вообще с ними ведается физиология, а не социология. Чего же мы можем требовать в данный момент от социологии? Об'яснения того, почему, стремясь к удовлетворению своих потребностей, — скажем, потребности в пище,—люди вступают иногда в одни, а иногда в совершенно иные взаимные отношения. И это обстоятельство социология,—в лице Маркса,—об'ясняет состоянием их производительных сил. Далее спрашивается: зависит ли состояние этих сил от воли людей и от тех целей, которые ими преследуются? Социология,—опять в лице того же Маркса,—отвечает: нет, не зависят. А если не зависят, то, значит, они возникают в силу известной необходимости, определенной данными, вне человека лежащими условиями.

Что же выходит? Выходит, что если охота есть целесообразная деятельность дикаря, то этим несомненным фактом нимало не ослабляется значение той мысли Маркса, что производственные отношения, возникающие между дикарями, занимающимися охотой, возникают в силу условий, от этой целесообразной деятельности не совсем зависящих. Другими словами: если первобытный охотник сознательно стремится к тому, чтобы побить как можно больше дичи, то отсюда еще не следует, что коммунизм, свойственный быту этого охотника, вырос, как целесообразный продукт его деятельности. Нет, коммунизм возник, или, вернее, сохранился,—так как возник-то он еще гораздо раньше,—сам собою, как бессознательный, т.-е. необходимый результат той организации труда, характер которой от воли людей совсем не зависел[1]). Вот этого-то и не понял кантиа-

[1]) «Необходимость, в ее противоположности свободе, есть именно бессознательное» (Шеллинг).

нец Штаммлер, тут-то он и сбился, введя в соблазн наших гг. Струве, Булгаковых и прочих временных марксистов, имена коих ты Господи веси[1]).

Продолжая свои критические замечания, Штаммлер говорит, что если бы общественное развитие совершалось исключительно в силу причинной необходимости, то было бы явной бессмыслицей всякое сознательное стремление содействовать ему. По его словам, тут может быть только одно из двух: или я считаю данное явление необходимым, т.-е. неизбежным, и тогда мне нет никакой надобности содействовать ему; или же моя деятельность нужна для того, чтобы могло произойти это явление, и тогда оно не может быть названо необходимым. Кто стремится к тому, чтобы содействовать необходимому, т.-е. неизбежному восходу солнца?[2]).

Тут с поразительной ясностью обнаруживается дуализм, свойственный людям, воспитанным на Канте: мышление всегда оторвано у них от бытия.

Восход солнца не связан с общественными отношениями людей ни как причина, ни как следствие. Поэтому, его можно противопоставлять, как явление природы, сознательным стремлениям людей, тоже не имеющим с ними никакой причинной связи. Не то с общественными явлениями, с историей. Мы уже знаем, что история делается людьми; стало быть человеческие стремления не могут не быть фактором исторического движения. Но история делается людьми так, а не иначе, вследствие известной необходимости, о которой мы уже достаточно распространялись выше. Раз дана эта необходимость, то даны, как ее следствие, и те стремления людей, которые являются неизбежным фактором общественного развития. Стремления лю-

---

[1]) Эта сторона дела довольно подробно выяснена нами в разных местах нашей книги об историческом монизме.

[2]) Там же, S 421 и след. Ср. также статью Штаммлера „Materialistische Geschichtsauffassug" в „Handwörterbuch der Staatswissenschaften". V Band, SS. 735—737.

дей не исключают необходимости, а сами определяются ею. Значит, и противопоставление их необходимости есть большой грех логики.

Когда данный класс, стремясь к своему освобождению, совершает общественный переворот, он поступает при этом более или менее целесообразно, и, во всяком случае, его деятельность является причиной этого переворота. Но эта деятельность, со всеми теми стремлениями, которые ее вызвали, сама есть следствие известного хода экономического развития и потому сама определяется необходимостью.

Социология становится наукой лишь в той мере, в какой ей удается понять возникновение целей у общественного человека (общественную „телеологию"), как необходимое следствие общественного процесса, обусловливаемого в последнем счете ходом экономического развития.

И очень характерно то обстоятельство, что последовательные противники материалистического об'яснения истории видят себя вынужденными доказывать невозможность социологии, как науки. Это значит, что „критицизм" становится теперь препятствием для дальнейшего научного развития нашего времени. Для людей, старающихся найти научное об'яснение истории философских теорий, тут представляется интересная задача: определить, каким образом эта роль „критицизма" связана с борьбою классов в современном обществе.

Если я стремлюсь принять участие в таком движении, торжество которого кажется мне исторически необходимым, то это значит только то, что я и на свою собственную деятельность смотрю, как на необходимое звено в цепи тех условий, совокупность которых необходимо обеспечит торжество дорогого для меня движения. Не больше и не меньше. Это непонятно дуалисту. Но это вполне ясно человеку, усвоившему себе теорию единства суб'екта и об'екта и понявшего, каким образом

нечной цели" лишается всякого смысла, отступает в область утопических преданий. Кто бы ни делал такое противопоставление, — немецкий „ревизионист" вроде Эдуарда Бернштейна, или итальянский „революционный синдикалист" вроде тех, которые заседали на последнем синдикалистском конгрессе в Ферраре,—он в одинаковой мере показывает свою неспособность понять дух и метод современного научного социализма. Это полезно напомнить теперь, когда и реформизм и синдикализм позволяют себе говорить во имя Маркса.

И каким здоровым оптимизмом веет от этих слов: „человечество всегда ставит себе только разрешимые задачи"! Они не означают, конечно, что хорошо каждое решение великих задач человечества, предлагаемое первым встречным утопистом. Иное дело—утопист, а иное дело—„человечество", или, точнее, общественный класс, представляющий в данное время великие интересы человечества. Тот же Маркс очень хорошо сказал: „Чем глубже захватывается жизнь данным историческим действием, тем более растут размеры массы совершающей это действие". Этим окончательно осуждается утопическое отношение к великим историческим задачам. И если Маркс все-таки думал, что человечество не ставит себе неразрешимых задач, то с теоретической стороны эти его слова представляют собою лишь новое выражение мысли об единстве субъекта и объекта в ее приложении к процессу исторического развития, а со стороны практической они выражают ту спокойную, мужественную веру в достижение „конечной цели", которая заставила когда-то нашего незабвенного Н. Г. Чернышевского горячо воскликнуть:

„Пусть будет, что будет, а будет все-таки на нашей улице праздник".

О „СКАЧКАХ“ В ПРИРОДЕ И ИСТОРИИ.

„У нас, да и не только у нас—говорит г. Тихомиров—глубоко укоренилась мысль, будто мы живем в каком-то „периоде разрушения", который, как веруют, кончится страшным переворотом, с реками крови, треском динамита и т. п. За сим — предполагается — начнется „период созидательный". Эта социальная концепция совершенно ошибочна, и, как уже замечалось, составляет просто политическое отражение старых идей Кювье и школы внезапных геологических катастроф. На самом деле, в действительной жизни, разрушение и созидание идут рука об руку и даже немыслимы одно без другого. Разрушение одного явления происходит собственно оттого, что в нем, на его месте, созидается нечто другое и, наоборот, формирование нового есть ничто иное, как разрушение старого" [1]).

Заключающаяся в этих словах „концепция" не поражает большою ясностью, но во всяком случае смысл их может быть сведен к двум положениям:

1) „У нас, да и не только у нас" революционеры не имеют никакого понятия об эволюции, о постепенном „изменении типа явлений", как выражается г. Тихомиров в другом месте.

2) Если бы они имели понятие об эволюции, о постепенном „изменении явлений", то не воображали бы, „будто мы живем в каком-то периоде разрушения".

Посмотрим сначала как обстоит дело на этот счет не у нас, т.-е. на Западе.

В настоящее время там существует, как известно, революционное движение рабочего класса, который стремится к своему экономическому

[1]) „Почему я перестал быть революционером?", стр. 13.

освобождению. Спрашивается, удалось ли теоретическим представителям этого движения, т.-е. социалистам, согласить свои революционные стремления со сколько-нибудь удовлетворительной теорией общественного развития?

На этот вопрос, не колеблясь, ответит утвердительно всякий, кто имеет хоть какое-нибудь понятие о современном социализме. Все серьезные социалисты в Европе и Америке держатся учения Маркса, а кому же не известно, что это учение есть прежде всего учение о развитии человеческих обществ? Маркс был горячим сторонником „революционной деятельности". Он глубоко сочувствовал всякому революционному движению, направленному против существующих общественных и политических порядков. Можно, если угодно, не разделять столь „разрушительных" симпатий; но уже, конечно, из существования их нельзя делать того вывода, что воображение Маркса было „фиксировано на насильственных переворотах", что он забывал о социальной эволюции, о медленном, постепенном развитии. Маркс не только не забывал об эволюции, но, напротив, открыл многие из важнейших ее законов. В его уме история человечества впервые сложилась в одну стройную, не фантастическую картину. Он первый показал, что экономическая эволюция ведет к политическим революциям. Благодаря ему, современное революционное движение имеет ясно намеченную цель и строго выработанную теоретическую основу. Но если это так, то почему же г. Тихомиров воображает, что несколькими бессвязными фразами об общественном „созидании" он может показать несостоятельность революционных стремлений, „у нас, да и не только у нас" существующих? Не потому ли, что он не дал себе труда понять учение современных социалистов?

Г. Тихомиров чувствует теперь отвращение к „внезапным катастрофами и „насильственным переворотам". Это в конце-концов его дело: в этом случае он не первый и не последний. Но напрасно он думает, что „внезапные катастрофы" невозмож-

ны ни в природе, ни в человеческих обществах. Во-первых, „внезапность" подобных катастроф есть представление относительное. Внезапное для одного может быть вовсе не внезапным для другого: солнечные затмения наступают внезапно для невежды и вовсе не внезапно для астронома. Совершенно также и революции, эти политические „катастрофы", случаются „внезапно" для невежд и для великого множества самодовольных филистеров, но очень часто бывают совсем не внезапными для человека, отдающего себе отчет в окружающих его общественных явлениях. Во-вторых, если бы г. Тихомиров попробовал взглянуть на природу и на историю с точки зрения усвоенной им теперь теории, то его ожидал бы целый ряд самых поразительных сюрпризов. Он твердо запомнил, что природа скачков не делает, что, покидая мир революционных фантазий и опускаясь на почву действительности, можно „в научном смысле говорить только о медленном изменении типа данного явления", а между тем природа скачет, не слушая никаких филиппик против „внезапности". Г. Тихомиров прекрасно знает, что „старые идеи Кювье" ошибочны, и что „внезапные геологические катастрофы" представляют собою не более, как ученую выдумку. Он беззаботно проживает, положим, на юге Франции, не предвидя ни тревог, ни опасностей. И вдруг—землетрясение, подобно случившемуся там года два назад. Почва колеблется, дома разрушаются, жители бегут, об'ятые ужасом, ну, словом, происходит настоящая „катастрофа", означающая невероятное легкомыслие в матери-природе! Наученный горьким опытом, г. Тихомиров внимательно проверяет свои геологические понятия и приходит к тому выводу, что медленное „изменение типа явлений" (в данном случае состояния земной коры) не исключает „переворотов", которые с известной точки зрения могут, пожалуй, показаться „внезапными" или „насильственными" [1]).

---

[1]) Из того, что наука опровергла геологические учения Кювье еще не следует, что она вообще показала невозможность геологических „катастроф", или „переворотов". Этого она не могла показать, не проти-

Г. Тихомиров кипятит воду, которая не перестает быть водой, не увлекается никакими внезапностями, нагреваясь от нуля до 80 градусов. Но вот она нагрелась до рокового предела и вдруг—о ужас!—„внезапная катастрофа": вода превращается в пар, как будто бы воображение ее было „фиксировано на насильственных переворотах".

Г. Тихомиров охлаждает воду, и тут опять повторяется та же странная история. Постепенно изменяется температура воды, причем вода не перестает быть водою. Но вот охлаждение дошло до нуля и вода превращается в лед, совершенно не помышляя о том, что „внезапные перевороты" представляют собою „ошибочную концепцию".

Г. Тихомиров наблюдает развитие одного из насекомых, переживающих метаморфозы. Медленно совершается процесс развития куколки, и до поры до времени она остается куколкой. Наш мыслитель потирает руки от удовольствия. „Здесь все идет хорошо, думает он. Ни общественный, ни животный организм не испытывают таких внезапных переворотов, какие мне пришлось заметить в неорганическом мире. Возвышаясь до создания живых существ, природа остепеняется". Но скоро радость его уступает место огорчению. В один прекрасный день куколка совершает „насильственный переворот" и является на свет божий в виде бабочки. Таким образом, г. Тихомирову приходится убедиться, что и органическая природа не застрахована от „внезапностей".

Точно также, если г. Тихомиров когда-нибудь серьезно „обратит внимание" на свою собственную „эволюцию", то он, наверное, и в ней найдет подобную точку поворота или „переворота". Он припомнит, какая именно капля переполнила чашу его

вореча таким общественным явлениям, как извержения вулканов, землетрясения и т. п. Задача науки заключалась в том, чтобы об'яснить эти явления, как продукт накопленного действия тех естественных сил природы, медленное влияние которых мы, в малых размерах, можем наблюдать в каждое данное время. Иначе сказать, геология должна была об'яснить революции, переживаемые земной корой, с помощью эволюции этой коры. С подобной же задачей приходилось считаться и общественной науке, которая, в лице Гегеля и Маркса, решила ее так же удачно, как и геология.

впечатлений и превратила его из более или менее колеблющегося защитника „революции“ в ее более или менее искреннего противника.

Мы с г. Тихомировым упражняемся в арифметическом сложении. Мы берем число пять и, как люди солидные, „постепенно“ прибавляем к нему по единице: шесть, семь, восемь... До девяти все обстоит благополучно. Но как только мы решаемся увеличить это последнее число еще на единицу, с нами происходит несчастье: наши единицы

Вдруг, без всяких причин благовидных

превращаются в десяток. Такое же горе приходится нам пережить при переходе от десятков к сотне.

Музыкой мы с г. Тихомировым совсем заниматься не станем: там слишком много всяких „внезапных“ переходов, и это обстоятельство может привести в расстройство все наши „концепции“.

На все запутанные рассуждения г. Тихомирова о „насильственных переворотах“ современные революционеры могут победоносно возразить одним простым вопросом: как же прикажете быть с теми переворотами, которые уже имели место в „действительной жизни“, и которые во всяком случае представляют собою „периоды разрушения?“. Об'явить ли нам их—muls et non avenus, или считать делами таких пустых и вздорных людей, на поступки которых серьезному „социологу“ не стоит обращать внимания? Но ведь как там ни смотри на эти явления, а надо же признать, что случались в истории насильственные перевороты и политические „катастрофы“. Почему г. Тихомиров думает, что допускать возможность подобных явлений в будущем — значит иметь „ошибочные социальные концепции“?

История скачков не делает! Это совершенно верно. Но с другой стороны, верно также и то, что история наделала множество „скачков“, совершила массу насильственных „переворотов“. Примеры таких переворотов бесчисленны. Что же значит это противоречие? Оно означает только то, что первое

из этих положений формулировано не совсем точно, а потому и понимается многими неправильно. Следовало бы сказать, что история не делает неподготовленных скачков. Ни один скачок не может иметь места без достаточной причины, которая заключается в предыдущем ходе общественного развития. Но так как это развитие никогда не останавливается в прогрессирующих обществах, то можно сказать, что история постоянно занимается подготовкой скачков и переворотов. Она прилежно и неуклонно делает это дело, она работает медленно, но результаты ее работы (скачки и политические катастрофы) неотвратимы и неизбежны.

Медленно совершается „изменение типа" французской буржуазии. Горожанин эпохи регентства не похож на горожанина времен Людовика XI-го, но в общем он все-таки остается верен типу буржуа старого режима. Он сделался богаче, образованнее требовательнее, но не перестал быть roturier, который всегда и всюду должен давать дорогу аристократу. Но вот наступает 1789 г., буржуа гордо подымает голову; проходит еще несколько лет, и он становится господином положения, да ведь каким образом становится? „С реками крови", с громом барабанов, с „треском пороха", если не динамита, в то время еще не изобретенного. Он заставляет Францию пережить настоящий „период разрушения", ни мало не заботясь о том, что со временем найдется, может быть, педант, который об'явит насильственные перевороты „ошибочной концепцией".

Медленно изменяется „тип" русских общественных отношений. Исчезают удельные княжества, бояре окончательно подчиняются царской власти и становятся простыми членами служилого сословия. Москва покоряет татарские царства (приобретает Сибирь, присоединяет к себе половину южной Руси), но все-таки остается азиатской Москвою. Является Петр и совершает „насильственный переворот" в государственной жизни России. Начинается новый, европейский период русской истории. Славянофилы ругали Петра антихристом именно за „вне-

запность" сделанного им переворота. Они утверждали, что в своем реформаторском рвении он позабыл об эволюции, об медленном „изменении типа" общественного строя. Но всякий мыслящий человек легко сообразит, что петровский переворот был необходим в силу пережитой Россией исторической „эволюции", что он был подготовлен ею.

Количественные изменения, постепенно накопляясь, переходят, наконец, в качественные. Эти переходы совершаются скачками и не могут совершаться иначе. Политические постепеновцы всех цветов и оттенков, Молчалины, возводящие в догмат умеренность и аккуратность, никак не могут понять этого обстоятельства, давно уже прекрасно выясненного немецкой философией. В этом случае, как и во многих других, полезно припомнить взгляд Гегеля, которого, конечно, трудно было бы обвинить в пристрастии к „революционной деятельности". „Когда хотят понять возникновение или исчезновение чего либо—говорит он—то воображают обыкновенно, что уясняют себе дело посредством представления о постепенности такового возникновения или уничтожения. Однако, изменения бытия совершаются не только путем перехода одного количества в другое, но также путем перехода качественных различий в количественные и наоборот,—того перехода, который прерывает постепенность, ставя на место одного явления другое, качественно отличное от него. В основе учения о постепенности лежит представление о том, что возникающее уже существует в действительности и незаметно лишь благодаря своим малым размерам. Точно также, говоря о постепенном уничтожении, воображают будто небытие данного явления или то новое явление, которое должно занять его место, уже существует, хотя пока еще незаметно... Но таким образом устраняется всякое понятие о возникновении и уничтожении... Об'яснить возникновение или уничтожение постепенностью изменения, значит сводить все дело к скучной тавтоло-

гии и представлять себе возникающее или уничтожающееся уже в готовом виде", т.-е. уже возникшим или уничтожающимся [1]). Значит, если вам нужно об'яснить возникновение государства, то вы просто на просто воображайте себе микроскопическую государственную организацию, которая, постепенно изменяясь в своем об'еме, дает, наконец, „обывателям" почувствовать свое существование. Точно также, если вам нужно об'яснить исчезновение первобытных родовых отношений, то вы даете себе труд вообразить маленькое небытие этих отношений,—и дело в шляпе. Само собою разумеется, что с такими приемами мышления в науке далеко не уедешь. Одна из величайших заслуг Гегеля заключается в том, что он очистил учение о развитии от подобных нелепостей. Но какое дело г. Тихомирову до Гегеля и до его заслуг. Он раз навсегда затвердил, что Западные теории к нам неприменимы.

Вопреки мнению нашего автора о насильственных переворотах и политических катастрофах, мы с уверенностью скажем, что в настоящее время история подготовляет в передовых странах чрезвычайно важный переворот, относительно которого есть основания думать, что он совершится насильственно. Он будет состоять в изменении способа распределения продуктов. Экономическая эволюция создала колоссальные производительные силы, которые для своего употребления в дело требуют совершенно определенной организации производства. Они применимы только в крупных промышленных предприятиях, основанных на коллективном труде, на общественном производстве.

Но в резком противоречии с этим общественным способом производства стоит индивидуальное присвоение продуктов, выросшее при совершенно иных экономических условиях, в эпоху процветания мелкой промышленности и мелкой земельной культуры. Продукты общественного труда работников

---

[1]) «Wissenschaft der Logik», erster Band, S. S. 313—314. Мы цитируем по нюренбергскому изданию 1812 года.

поступают, таким образом, в частную собственность предпринимателей. Этим коренным экономическим противоречием обусловливаются все другие общественные и политические противоречия, замечаемые в современных обществах. И это коренное противоречие становится все более и более интенсивным. Предприниматели не могут отказаться от общественной организации производства, потому что в ней заключается источник их богатства. Напротив, конкуренция заставляет их распространять эту организацию на другие отрасли промышленности, в которых она прежде не имела места. Крупные промышленные предприятия убивают мелких производителей и, таким образом, увеличивают численность, а следовательно и силу рабочего класса. Роковая развязка приближается. Чтобы устранить вредное для них противоречие между способом производства продуктов, с одной стороны, и способом их распределения с другой,—рабочие должны будут овладеть политической властью, которая фактически находится теперь в руках буржуазии. Если угодно, вы можете сказать, что рабочие должны будут совершить „политическую катастрофу". Экономическая эволюция роковым образом ведет к политической революции, а эта последняя будет, в свою очередь, источником важных изменений в экономическом строе общества. Способ производства продуктов медленно и постепенно принимает общественный характер. Соответствующий ему способ присвоения их явится результатом насильственного переворота.

Так происходит историческое движение не у нас,—на Западе, о социальном быте которого г. Тихомиров не имеет никакой „концепции", хотя и занимался „наблюдением могучей французской культуры".

Насильственные перевороты, „реки крови", топоры и плахи, порох и динамит—все это весьма печальные „явления". Но что же прикажете делать, если они не избежны? Сила всегда играла роль повивальной бабки, когда рождалось новое общество. Так говорил Маркс, и так думал не один он. Исто-

рик Шлоссер был убежден, что только „огнем и мечем" совершаются великие перевороты в судьбе человечества[1]). Откуда же является эта печальная необходимость? Кто виной?

Иль силе правды
На земле не все доступно?

Нет, пока еще не все. И происходит это благодаря различию классовых интересов в обществе. Одному классу полезно или даже существенно необходимо перестроить известным образом общественные отношения. Другому—полезно или даже существенно необходимо противиться такому переустройству. Одним оно сулит счастье и свободу, другим грозит отменой их привилегированного положения, грозит прямо уничтожить их, как привилегированный общественный класс. А какой же класс не борется за свое существование, не имеет чувства самосохранения? Выгодный данному классу общественный строй кажется ему не только справедливым, но даже единственным возможным. По его мнению пытаться изменить этот строй—значит разрушить основы всякого человеческого общежития. Он считает себя призванным охранять эти основы хотя бы даже силою оружия. Отсюда—„реки крови"; отсюда—борьба и насилия.

Впрочем, социалисты, размышляя о предстоящем общественном перевороте, могут утешать себя тою

---

[1]) Основательное знание истории, повидимому, располагало Шлоссера даже к принятию старых геологических взглядов Кювье. Вот что говорит он по поводу проектов реформ Тюрго, до сих пор приводящих в умиление филистеров. «Эти проекты заключают в себе все существенные выгоды, которые приобрела Франция впоследствии посредством революции. Только революцией они могли быть достигнуты, потому что министерство Тюрго в своих ожиданиях обнаружило слишком сангвинико-философский дух: оно надеялось, вопреки опыту и истории, единственно своими предписаниями переменить социальное устройство, образовавшееся в течении времени и скрепленное прочными связями. Радикальные преобразования как в природе, так и в истории, возможны не прежде, как по уничтожении всего существующего огнем, мечом и разрушением». История восемнадцатого столетия, русский перевод. 2-ое издание. С.П.Б. 1868. Т. III, стр. 361. Удивительный фантазер этот ученый немец, скажет г Тихомиров.

мыслью, что чем больше распространятся их „разрушительные“ учения, тем развитее, организованнее и дисциплинированнее будет рабочий класс, а чем развитее, организованнее и дисциплинированнее будет рабочий класс, тем меньших жертв потребует неизбежная „катастрофа“.

При том же, торжество пролетариата, положив конец всякой эксплоатации человека человеком, а следовательно и разделению общества на класс эксплоататоров и класс эксплоатируемых, сделает гражданские войны не только излишними, но даже и прямо невозможными. Тогда человечество будет двигаться одной „силой правды“ и не будет иметь надобности в аргументации с помощью оружия.

К ВОПРОСУ О РОЛИ ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ.

I.

Во второй половине семидесятых годов покойный Каблиц написал статью: „Ум и чувство, как факторы прогресса", в которой, ссылаясь на Спенсера, доказывал, что в наступательном движении человечества главная роль принадлежит чувству, а ум играет второстепенную и к тому же совершенно подчиненную роль. Каблицу возражал один „почтенный социолог", выразивший насмешливое удивление по поводу теории, ставившей ум „на запятки". „Почтенный социолог" был, разумеется, прав, защищая ум. Однако, он был бы гораздо более прав если бы, не касаясь сущности поднятого Каблицем вопроса, показал, до какой степени невозможна и непозволительна была самая его постановка. В самом деле, теория „факторов" неосновательна уже сама по себе, так как она произвольно выделяет различные стороны общественной жизни и ипостазирует их, превращая их в особого рода силы, с разных сторон и с неодинаковым успехом влекущие общественного человека по пути прогресса. Но еще более неосновательна эта теория в том виде, какой она получила у Каблица, превращавшего в особые социологические ипостаси уже не те или другие стороны деятельности общественного человека, а различные области индивидуального сознания. Это по-истине Геркулесовы столбы абстракции; дальше идти некуда, потому что дальше начинается комическое царство вполне уже очевидного абсурда. Вот на это-то и следовало „почтенному социологу" обратить внимание Каблица и его читателей. Обнаружив, в какие дебри абстракции завело Каблица стремление найти господствующий „фактор" в истории, „почтенный социолог", может быть невзначай сделал бы кое-что и

для критики самой теории факторов. Это было бы очень полезно всем нам в то время. Но он оказался не на высоте призвания. Он сам стоял на точке зрения той же теории, отличаясь от Каблица лишь склонностью к эклектизму, благодаря которому все „факторы" казались ему одинаково важными. Эклектические свойства его ума особенно ярко выразились впоследствии в нападках его на диалектический материализм, в котором он увидел учение, жертвующее экономическому „фактору" всеми другими, и сводящее к нулю роль личности в истории. „Почтенному социологу" и в голову не приходило, что диалектический материализм чужд точки зрения „факторов" и что только при полной неспособности к логическому мышлению можно видеть в нем оправдание так-называемого квиетизма. Надо заметить, впрочем, что в этом промахе „почтенного социолога" нет ничего оригинального: его делали, делают и, вероятно, долго еще будут делать многие и многие другие...

Материалистов стали упрекать в склонности к квиетизму уже тогда, когда у них еще не выработался диалектический взгляд на природу и на историю. Не уходя в „глубь времен" мы напомним спор известного английского ученого Пристлея с Прайсом. Разбирая учение Пристлея, Прайс доказывал, между прочим, что материализм несогласим с понятием о свободе и устраняет всякую самодеятельность личности. В ответ на это Пристлей сослался на житейский опыт. „Я не говорю о самом себе, хотя, конечно, и меня нельзя назвать самым неподвижным из всех животных; но я спрашиваю вас, где вы найдете больше энергии мысли, больше активности, больше силы и настойчивости в преследовании самых важных целей, чем между последователями учения о необходимости?". Пристлей имел в виду религиозную демократическую секту так называвшихся тогда христианских нецессарианцев[1]). Не-

[1]) Француза XVII века, очень удивило бы такое сочетание материализма с религиозной догматикой. В Англии оно никому не казалось странным. Пристлей сам был очень религиозным человеком: что город, то норов.

знаем, точно ли она была так деятельна, как это думал, принадлежавший к ней Пристлей. Но это и не важно. Не подлежит никакому сомнению то обстоятельство, что материалистический взгляд на человеческую волю прекрасно уживается с самой энергичной деятельностью на практике. Лансон замечает, что „все доктрины, обращавшиеся с наибольшими требованиями к человеческой воле, утверждали в принципе бессилие воли; они отрицали свободу и подчиняли мир фатализму“ [1]). Лансон неправ, думая, что всякое отрицание так-называемой свободы воли приводит к фатализму; но это не помешало ему подметить в высшей степени интересный исторический факт: в самом деле, история показывает, что даже фатализм не только не всегда мешает, энергическому действию на практике, но, напротив, в известные эпохи был психологически необходимой основой такого действия. В доказательство сошлемся на пуритан, превзошедших своей энергией все другие партии в Англии XVII века, и на последователей Магомета, в короткое время покоривших своей власти огромную полосу земли от Индии до Испании. Очень ошибаются те, по мнению которых стоит нам только убедиться в неизбежном наступлении данного ряда событий, чтобы у нас исчезла всякая психологическая возможность содействовать или противодействовать ему [2]).

Тут все зависит от того, составляет ли моя собственная деятельность необходимое звено в цепи необходимых событий. Если да, то тем меньше у меня колебаний и тем решительнее я действую. И в этом нет ничего удивительного: когда мы го-

[1]) См. русский перевод его «Истории французской литературы», том I-й, стр. 511.

[2]) Известно, что по учению Кальвина, все поступки людей предопределены Богом: Praedestinationem vocamur aeternum Dei decretum, quo apud se constitutum habuit, quid unoquoque homine fieri valet. (Institutio, ibid. III, cap. 5) По этому же учению, Бог избирает некоторых из своих служителей для освобождения несправедливо угнетенных народов. Таков был Моисей, освободитель израильского народа. По всему видно, что таким орудием Бога, считал себя и Кромвель; он всегда и, вероятно, в силу совершенно искреннего убеждения называл свои действия плодом воли Божьей. Все эти действия были наперед окрашены для него в цвет необходимости. Это не только не мешало ему стремиться от победы к победе, но придавало этому его стремлению неукротимую сил .

ворим, что данная личность считает свою деятельность необходимым звеном в цепи необходимых событий, это значит, между прочим, что отсутствие свободы воли равносильно для нее совершенной неспособности к бездействию, и что оно, это отсутствие свободы воли отражается в ее сознании в виде невозможности поступить иначе, чем она поступает. Это именно то психологическое настроение, которое может быть выражено знаменитыми словами Лютера: „На этом стою и иначе не могу", и благодаря которому люди обнаруживают самую неукротимую энергию, совершают самые поразительные подвиги. Это настроение было неизвестно Гамлету: оттого он и был способен только ныть да рефлектировать. И оттого Гамлет никогда не помирился бы с философией, по смыслу которой свобода есть лишь необходимость, перешедшая в сознание. Фихте справедливо сказал: „каков человек, такова и его философия".

II.

Некоторые приняли у нас всерьез замечание Штаммлера насчет будто бы неразрешимого противоречия, якобы свойственного одному из западноевропейских социально-политических учений. Мы имеем в виду известный пример лунного затмения. На самом деле это архи-нелепый пример. В число тех условий, сочетание которых необходимо для лунного затмения, человеческая деятельность никаким образом не входит и входить не может, и уже по одному этому партия для содействия лунному затмению могла бы возникнуть только в сумасшедшем доме. Но если бы человеческая деятельность и входила бы в число названных условий, то в партию лунного затмения не вошел бы никто из тех, которые, очень желая его видеть, в то же время были бы убеждены, что оно непременно совершится и без их содействия. В этом случае их „квиетизм" был бы только воздержанием от излишнего, т.-е. бесполезного действия и не

имел бы ничего общего с настоящим квиетизмом. Чтобы пример лунного затмения перестал быть бессмысленным в рассматриваемом нами случае указанной выше партии, надо было бы совершенно изменить его. Надо было бы вообразить, что луна одарена сознанием, и что то положение ее в небесном пространстве, благодаря которому происходит ее затмение, кажется ей плодом самоопределения ее воли и не только доставляет ей огромное наслаждение, но и безусловно нужно для ее нравственного спокойствия, вследствие чего она всегда страстно стремится занять это положение[1]). Вообразив все это, надо было бы спросить себя: что почувствовала бы луна, если бы она, наконец, открыла, что в действительности не воля и не „идеалы" ее определяют собою ее движение в небесном пространстве, а наоборот—ее движение определяет собою ее волю и ее „идеалы". По Штаммлеру выходит, что такое открытие непременно сделало бы ее неспособной к движению, если бы она не выпуталась из беды посредством какого-нибудь логического противоречия. Но такое предположение решительно ни на чем не основано. Это открытие могло бы явиться одним из формальных оснований дурного настроения луны, ее нравственного разлада с самой собою, противоречия ее „идеалов" с механической действительностью. Но так как мы предполагаем, что все вообще „психическое состояние луны" обусловливается в конце-концов ее движением, то в движении надо было бы искать и причины ее душевного разлада. При внимательном отношении к делу оказалось бы, может быть, что когда луна находится в апогее, она горюет о том, что ее воля несвободна, а в перигее это же обстоятельство является для нее новым формальным источником нравственного блаженства и нравственной бодрости. Может быть, вышло бы и наоборот: может быть, оказалось бы, что не в перигее, а в

---

[1]) «Точно, если бы намагниченная игла могла поворачиваться к северу, ибо она считала бы, что поворачивается самопроизвольно, не замечая нечувствительных движений магнетической материи». Лейбниц, Теодицея, Лозанна, 1740, стр. 598.

апогее находит она средство примирить свободу с необходимостью. Но как бы то ни было, несомненно, что такое примирение вполне возможно; что сознание необходимости прекрасно уживается с самым энергическим действием на практике. По крайней мере, так было до сих пор в истории. Люди, отрицавшие свободу воли, часто превосходили всех своих современников силой собственной воли и пред'являли к ней наибольшие требования. Таких примеров много. Они общеизвестны. Забыть о них, как забывает, повидимому, Штаммлер, можно только при умышленном нежелании видеть историческую действительность такою, какова она есть. Подобное нежелание очень сильно, например, у наших суб'ективистов и некоторых немецких филистеров. Но филистеры и суб'ективисты не люди, а простые п р и з р а к и, как сказал бы Белинский.

Рассмотрим, однако, поближе тот случай, когда собственные —прошедшие, настоящие или будущие — действия человека представляются ему сплошь окрашенными в цвет необходимости. Мы уже знаем, что в этом случае человек,—считая себя посланником Божьим, подобно Магомету, избранником ничем неотвратимой судьбы, подобно Наполеону, или выразителем никем непреодолимой силы исторического движения, подобно некоторым общественным деятелям XIX века,—обнаруживает почти стихийную силу воли, разрушая как карточные домики, все препятствия, воздвигаемые на его пути Гамлетами и Гамлетиками разных уездов[1]). Но нас этот случай интересует теперь с другой стороны и именно вот с какой стороны. Когда сознание несвободы моей воли представляется мне лишь в виде полной суб'-

[1]) Приведем еще один пример, наглядно показывающий, как сильно чувствуют люди этой категории. Герцогиня Феррарская, Рене (дом Людовика XII) говорит в письме к своему учителю Кальвину: «Нет, я не забыла того, что вы мне писали: что Давид питал смертельную ненависть к врагам Божьим; и я сама никогда не стану поступать иначе, ибо если бы я знала, что король, мой отец, и королева, моя мать, и покойный господин, мой муж и все мои дети были отвержены Богом, я возненавидела бы их смертельною ненавистью и хотела бы, чтоб они попали в ад», и т. д. Какую страшную всесокрушающую энергию способны были обнаруживать люди, питавшие такие чувства! А ведь эти люди отрицали свободу воли.

ективной и об'ективной невозможности поступать иначе, чем я поступаю, и когда данные мои действия являются в то же время наиболее для меня желательными из всех возможных действий, тогда необходимость отождествляется в моем сознании со свободою, а свобода с необходимостью, и тогда я не свободен только в том смысле, что не могу нарушить это тождество свободы с необходимостью; не могу противопоставить их одну другой; не могу почувствовать себя стесненным необходимостью. Но подобное отсутствие свободы есть вместе с тем ее полнейшее проявление.

Зиммель говорит, что свобода есть всегда свобода от чего-нибудь, и что там, где свобода не мыслится как противоположность связанности, она не имеет смысла. Это, конечно, так. Но на основании этой маленькой азбучной истины нельзя опровергнуть то положение, составляющее одно из гениальнейших открытий, когда-либо сделанных философской мыслью, что свобода есть сознанная необходимость. Определение Зиммеля слишком узко: относится оно только к свободе от внешнего стеснения. Пока речь идет лишь о таких стеснениях, отождествление свободы с необходимостью было бы до последней степени комично: вор не свободен вытащить у вас из кармана носовой платок, если вы мешаете ему сделать это и пока он не преодолел так или иначе вашего сопротивления. Но кроме этого элементарного и поверхностного понятия о свободе есть другое, несравненно более глубокое. Это понятие совсем не существует для людей, неспособных к философскому мышлению, а люди, способные к такому мышлению, доходят до него только тогда, когда им удается разделаться с дуализмом и понять, что между суб'ектом—с одной стороны, и об'ектом—с другой, вовсе не существует той пропасти, какую предполагают дуалисты.

Русский суб'ективист противопоставляет свои утопические идеалы нашей капиталистической действительности и не идет дальше такого противопоставления. Суб'ективисты завязли в болоте дуа-

лизма. Идеалы так-называемых русских „учеников" несравненно менее похожи на капиталистическую действительность, чем идеалы субъективистов. Но, несмотря на это, „ученики" сумели найти мост, соединяющий идеалы с действительностью. „Ученики" возвысились до монизма. По их мнению, капитализм ходом своего собственного развития приведет к своему собственному отрицанию и к существованию их—русских, да и не одних только русских, „учеников" — идеалов. Это историческая необходимость. „Ученик" служит одним из орудий этой необходимости и не может не служить им, как по своему общественному положению, так и по своему умственному и нравственному характеру, созданному этим положением. Это тоже сторона необходимости. Но раз его общественное положение выработало у него именно этот, а не другой характер, он не только служит орудием необходимости и не только не может служить, но и страстно хочет и не может не хотеть служить. Это—сторона свободы и притом свободы, выросшей из необходимости, т.-е., вернее сказать,—это свобода, отождествившаяся с необходимостью,—это необходимость, преобразившаяся в свободу [1]). Такая свобода есть тоже свобода, от некоторого стеснения; она тоже противоположна некоторой связанности: глубокие определения не опровергают поверхностных, а, дополняя их, сохраняют их в себе. Но о каком же стеснении, о какой связанности может идти речь в этом случае? Это ясно: о том нравственном стеснении, которое тормозит энергию людей, не разделавшихся с дуализмом; от той связанности, от которой страдают люди, не умеющие перекинуть мост через пропасть, разделяющую идеалы от действительности. Пока личность не завоевала этой свободы мужественным усилием философской мысли, она еще не вполне принадлежит самой себе и своими собственными нравственными муками платит позорную дань, про-

[1]) «Необходимость превращается в свободу не потому, что она исчезает, а потому что проявляется ее внутреннее тождество». Гегель, На-

тивостоящей ей внешней необходимости. Но зато та же личность родится для новой, полной, ей до тех пор неведомой жизни, едва только она свергнет с себя иго этого мучительного и постыдного стеснения, и ее свободная деятельность явится сознательным и свободным выражением необходимости[1]). Тогда она становится великой общественной силой, и тогда уже ничто не может помешать ей и ничто не помешает

Над неправдою лукавою
Грянуть Божьею грозою...

III.

Еще раз: сознание безусловной необходимости данного явления может только усилить энергию человека, сочувствующего ему и считающего себя одной из сил, вызывающих это явление. Если бы такой человек сложил руки, сознав его необходимость, он показал бы этим, что плохо знает арифметику. В самом деле, положим, что явление A необходимо должно наступить, если окажется налицо данная сумма условий. Вы доказали мне, что эта сумма частью уже есть в наличности, а частью будет в данное время T. Убедившись в этом, я, человек, сочувствующий явлению A, восклицаю: „как это хорошо", — и заваливаюсь спать вплоть до радостного дня предсказанного вами события. Что же выйдет из этого? Вот что. В вашем расчете, в сумму, необходимую для того, чтобы совершилось явление A, входила также и моя деятельность, равная, положим, a. Так как я погрузился в спячку, то в момент T сумма условий, благоприятных наступлению данного явления, будет уже не S, но S — a, что изменяет состояние дела. Может быть, мое место займет другой человек, который тоже был близок к бездействию, но на которого спасительно повлиял пример моей апатии, показавшейся ему крайне возмутительной. В таком случае, сила a будет

[1]) Тот же старый Гегель прекрасно говорит в другом месте: «Die Freiheit ist dies, Nichts zu wollen als sich». Werke. B. 12.

замещена силой в, и если а равно в (а—в), то сумма условий, способствующих наступлению А, останется равной S, и явление А все-таки совершится в тот же самый момент Т.

Но если мою силу нельзя признать равной нулю, если я ловкий и способный работник и если меня никто не заменил, то у нас уже не будет полной суммы S, и явление А совершится позже, чем мы предполагаем, или не в той полноте, какой мы ожидали, или даже совсем не совершится. Это ясно, как день, и если я не понимаю этого, если я думаю, что S остается S и после моей измены, то единственно потому, что не умею считать. Да и один ли я не умею считать? Вы, предсказывавший мне, что сумма S непременно будет на-лицо в момент Т., не предвидели, что я лягу спать сейчас же после моей беседы с вами; вы были уверены, что я до конца останусь хорошим работником; вы приняли менее надежную силу за более надежную. Следовательно, вы тоже плохо сосчитали. Но предположим, что вы ни в чем не ошиблись, что вы все приняли в соображение. Тогда ваш расчет примет такой вид: вы говорите, что в момент Т сумма S будет налицо. В эту сумму условий войдет, как отрицательная величина, моя измена; сюда же войдет, как величина положительная и то ободряющее действие, которое производит на людей, сильных духом, уверенность в том, что их стремления и идеалы являются субъективным выражением объективной необходимости. В таком случае сумма S действительно окажется налицо в означенное вами время, и явление А совершится. Кажется, что это ясно. Но если ясно, то почему же, собственно, меня смутила мысль о неизбежности явления А? Почему мне показалось, что она осуждает меня на бездействие? Почему, рассуждая о ней, я позабыл самые простые правила арифметики? Вероятно потому, что по обстоятельствам моего воспитания у меня уже было сильнейшее стремление к бездействию, и мой разговор с вами явился каплей, переполнившей чашу этого похвального стремления. Вот только и всего. Только в этом смысле,—

в смысле повода для обнаруживания моей нравственной дряблости и негодности,—фигурировало здесь сознание необходимости. Причиной же этой дряблости его считать никак невозможно: причина не в нем, а в условиях моего воспитания. Стало быть,—арифметика есть чрезвычайно почтенная и полезная наука, правил которой не должны забывать даже господа философы, и даже особенно господа философы.

А как подействует сознание необходимости данного явления на сильного человека, который ему не сочувствует и противодействует его наступлению? Тут дело несколько изменяется. Очень возможно, что оно ослабит энергию его сопротивления. Но когда противники данного явления убеждаются в неизбежности? Когда благоприятствующие ему обстоятельства становятся очень многочисленны и очень сильны. Сознание его противниками неизбежности его наступления и упадок их энергии представляют собою лишь проявление силы благоприятствующих ему условий. Такие проявления в свою очередь входят в число этих благоприятных условий.

Но энергия сопротивления уменьшится не у всех его противников. У некоторых оно только возрастет, вследствие сознания его неизбежности, превратившись в энергию отчаяния. История вообще, и история России в частности, представляет не мало поучительных примеров энергии этого рода. Мы надеемся, что читатель припомнит их без нашей помощи.

Тут нас прерывает г. Карсев, который хотя, разумеется, и не разделяет наших взглядов на свободу и необходимость и к тому же не одобряет нашего пристрастия к „крайностям" сильных людей, но все-таки с удовольствием встречает на страницах нашего журнала ту мысль, что личность может явиться великой общественной силой. Почтенный профессор радостно восклицает: „Я всегда говорил это". И это верно. Г. Карсев и все субъективисты всегда отводили весьма значительную роль личности в истории. И было время, когда это вызывало большое сочувствие

к ним передовой молодажи, стремившейся к благородному труду на общую пользу и потому, естественно, склонной высоко ценить значение личной инициативы. Но в сущности суб'ективисты никогда не умели не только решать, но даже и правильно поставить вопрос о роли личности в истории. Они противополагали „деятельность критически мыслящих личностей" влиянию законов общественно-исторического движения и, таким образом, создавали как бы новую разновидность теории факторов; критически мыслящие личности являлись одним фактором названного движения, а другим его фактором служили его же собственные законы. В результате получилась сугубая несообразность, которою можно было довольствоваться только до тех пор, пока внимание деятельных „личностей" сосредоточивалась на практических злобах дня, пока им, поэтому, некогда было заниматься философскими вопросами. Но с тех пор как наступившее в восьмидесятых годах затишье дало невольный досуг для философских размышлений тем, которые способны были мыслить, учение суб'ективистов стало трещать по всем швам и даже совсем расползаться, подобно знаменитой шинели Акакия Акакиевича. Никакие заплаты ничего не поправляли, и мыслящие люди один за другим стали отказываться от суб'ективизма, как от учения явно и совершенно несостоятельного. Но, как это всегда бывает в таких случаях, реакция против него привела некоторых из его противников к противоположной крайности. Если некоторые суб'ективисты, стремясь отвести „личности" как можно более широкую роль в истории, отказывались признать историческое движение человечества законосообразным процессом, то некоторые из их новейших противников, стремясь как можно лучше оттенить законосообразный характер этого движения, повидимому, готовы были забыть, что история делается людьми и что, поэтому, деятельность личностей не может не иметь в ней значения. Они признали личность за quantité negligeable[1]). Теоретически такая крайность

[1]) Величина, которой можно пренебречь.

столь же непозволительная, как и та, в которой пришли наиболее рьяные субъективисты. Жертвовать тезой антитезе так же неосновательно, как и забывать об антитезе ради тезы. Правильная точка зрения будет найдена только тогда, когда мы сумеем объединить в синтезе заключающиеся в них моменты истины[1]).

IV.

Нас давно интересует эта задача, и давно уже нам хотелось пригласить читателя взяться за нее вместе с нами. Но нас удерживали некоторые опасения: мы думали, что может быть наши читатели уже решили ее для себя, и наше предложение явится запоздалым. Теперь у нас уже нет таких опасений. Нас избавили от них немецкие историки. Мы говорим это серьезно. Дело в том, что в течении последнего времени между немецкими историками шел довольно горячий спор о великих людях в истории. Они склонны были видеть в политической деятельности таких людей главную и чуть ли не единственную пружину исторического развития; а другие утверждали, что такой взгляд односторонен, и что историческая наука должна иметь в виду не только деятельность великих людей и не только политическую историю, а вообще совокупность исторической жизни (das ganze des geschichtlichen Lebens). Одним из представителей этого последнего направления выступил Карл Лампрехт, автор „Истории немецкого народа", переведенной на русский язык г. П. Николаевым. Противники обвиняли Лампрехта в „коллективизме" и в материализме, его—horribile dictu[2])—даже ставили на одну доску с „социал-демократическими атеистами", как выразился он в заключение спора. Когда мы ознакомились с его взглядами, мы увидели, что обвинения

---

[1]) В стремлении к синтезу нас опередил тот же г. Кареев. Но, к сожалению, он не пошел дальше сознания той истины, что человек состоит из души и тела.

[2]) Страшно молвить!

выдвинутые против бедного ученого, были совершенно неосновательны. В то же время мы убедились, что нынешние немецкие историки не в состоянии решить вопрос о роли личности в истории. Тогда мы сочли себя в праве предположить, что он до сих пор остается нерешенным и для некоторых русских читателей, и что по поводу его и теперь еще можно сказать нечто, не совсем лишенное теоретического и практического интереса.

Лампрехт собрал целую коллекцию (eine artige Sammlung, как выражается он) взглядов выдающихся государственных людей в отношении их собственной деятельности к той исторической среде, в которой она совершилась; но в своей полемике он ограничился пока ссылкой на некоторые речи и мнения Бисмарка. Он приводит следующие слова, произнесенные железным канцлером в северно-германском рейхстаге 16 апреля 1869 года: „Мы не можем, господа, ни игнорировать историю прошлого, ни творить будущее. Мне хотелось бы предохранить вас от того заблуждения, благодаря которому люди переводят вперед свои часы, воображая, что этим они ускоряют течение времени. Обыкновенно очень преувеличивают мое влияние на те события, на которые я опирался, но все-таки никому не придет в голову требовать от меня, чтобы я делал историю. Это было бы невозможно для меня даже в соединении с вами, хотя, соединившись вместе, мы могли бы сопротивляться целому миру. Но мы не можем делать историю; мы должны ожидать, пока она сделается. Мы не ускорим созревания плодов тем, что поставим под них лампу; а если мы будем срывать их незрелыми, то только помешаем их росту и испортим их". Основываясь на свидетельстве Жоли, Лампрехт приводит также мнения, не раз высказанные Бисмарком во время франко-прусской войны. Их общий смысл опять тот, „что мы не можем делать великие исторические события, а должны сообразовываться с естественным ходом вещей и ограничиваться обеспечением себе того, что уже созрело". Лампрехт видит в этом глубокую и полную истину. По его

мнению, современный историк не может думать иначе, если только умеет заглянуть в глубь событий и не ограничивать своего поля зрения слишком коротким промежутком времени. Мог ли бы Бисмарк вернуть Германию к натуральному хозяйству? Это было бы невозможно для него даже в то время, когда он находился на вершине своего могущества. Общие исторические условия сильнее самых сильных личностей. Общий характер его эпохи является для великого человека „эмпирически данной необходимостью".

Так рассуждает Лампрехт, называя свой взгляд универсальным. Нетрудно заметить слабую сторону „универсального" взгляда. Приведенные мнения Бисмарка очень интересны, как психологический документ. Можно не сочувствовать деятельности бывшего германского канцлера, но нельзя сказать, что она была ничтожна, что Бисмарк отличался „квиетизмом". Ведь это о нем говорил Лассаль: „Слуги реакции не краснобаи, но дай Бог, чтобы у прогресса было побольше таких слуг". И вот этот-то человек, проявлявший подчас по-истине железную энергию, считал себя совершенно бессильным перед естественным ходом вещей, очевидно, смотря на себя, как на простое орудие исторического развития: это еще раз показывает, что можно видеть явления в свете необходимости и в то же время быть очень энергичным деятелем. Но только в этом отношении и интересны мнения Бисмарка; ответом же на вопрос о роли личности в истории их считать невозможно. По словам Бисмарка, события делаются сами собою, а мы можем обеспечивать себе то, что подготовляется ими. Но каждый акт „обеспечения" тоже представляет собою историческое событие; чем же отличаются такие события от тех, которые делаются сами собою? В действительности почти каждое историческое событие является одновременно и „обеспечением" кому-нибудь уже созревших плодов предшествовавшего развития и одним из звеньев той цепи событий, которая подготовляет плоды будущего. Как же можно противопоставлять акты „обеспече-

ния" естественному ходу вещей? Бисмарку хотелось, как видно, сказать, что действующие в истории личности и группы личностей никогда не были и никогда не будут всемогущи. Это, разумеется, не подлежит ни малейшему сомнению. Но нам все-таки хотелось бы знать, отчего зависит их, конечно, далеко не всемогущая,—сила; при каких обстоятельствах она растет и при каких — уменьшается. На эти вопросы не отвечает ни Басмарк, ни цитирующий его слова ученый защитник „универсального" взгляда на историю.

Правда, у Лампрехта встречаются и более вразумительные цитаты[1]). Он приводит, например, следующие слова Моно, одного из самых видных представителей современной исторической науки во Франции: „Историки слишком привыкли обращать исключительное внимание на блестящие, громкие и эфемерные проявления человеческой деятельности, на великие события и на великих людей, вместо того, чтобы изображать великие и медленные движения экономических условий и социальных учреждений, составляющих действительно интересную и непреходящую часть человеческого развития,—ту часть, которая в известной мере может быть сведена к законам и подвергнута до известной степени точному анализу. Действительно, важные события и личности важны именно как знаки и символы различных моментов указанного развития. Большинство же событий, называемых историческими, так относятся к настоящей истории, как относятся к глубокому и постоянному движению приливов и отливов волны, которые возникают на морской поверхности, на минуту блещут ярким огнем света, а потом разбиваются о песчаный берег, ничего не оставляя после себя". Лампрехт заявляет, что он готов подписаться под каждым из этих слов Моно. Известно, что немецкие ученые не любят соглашаться с французскими, а французские с немецкими. Поэтому бельгийский историк Пирэнн с особенным удовольствием

---

[1]) Не касаясь других философско-исторических статей Лампрехта, мы имели и будем иметь в виду его статью «Der Ausgang des Geschichtswissenschaftlichen Kampfes», Die Zukunft, 1897. № 41.

подчеркнул в „Revue Historique“ это совпадение исторических взглядов Моно со взглядами Лампрехта. „Это согласие весьма многознаменательно,—заметил он,—оно доказывает, повидимому, что будущее принадлежит новым историческим взглядам“.

V.

Мы не разделяем приятных надежд Пирэнна. Будущее не может принадлежать взглядам неясным и неопределенным, а именно таковы взгляды Моно и, особенно, Лампрехта. Нельзя, конечно, не приветствовать то направление, которое об'являет важнейшей задачей исторической науки изучение общественных учреждений и экономических условий. Эта наука подвинется далеко вперед, когда в ней окончательно укрепится такое направление. Но, во-первых, Пирэнн ошибается, считая это направление новым. Оно возникло в исторической науке уже в двадцатых годах XIX столетия: Гизо, Минье, Огюстен Тьерри, а впоследствии Токвилль и другие были блестящими и последовательными его представителями. Взгляды Моно и Лампрехта являются лишь слабой копией со старого, но очень замечательного оригинала. Во-вторых, как ни глубоки были для своего времени взгляды Гизо, Минье и других французских историков, в них многое осталось невыясненным. В них нет точного и полного ответа на вопрос о роли личности в истории. А историческая наука, действительно, должна решить его, если ее представителям суждено избавиться от одностороннего взгляда на свой предмет. Будущее принадлежит той школе, которая даст наилучшее решение, между прочим, и этого вопроса.

Взгляды Гизо, Минье и других историков этого направления явились как реакция историческим взглядам восемнадцатого века и составляют их антитезу. В восемнадцатом веке люди, занимавшиеся философией истории, все сводили к сознательной деятельности личностей.

Были, правда, и тогда исключения из общего правила: так, философски-историческое поле зрения Вико, Монтескье и Гердера было гораздо шире. Но мы не говорим об исключениях; огромное же большинство мыслителей восемнадцатого века смотрело на историю именно так, как мы сказали. В этом отношении очень любопытно перечитывать в настоящее время исторические сочинения, например, Мабли. У Мабли выходит, что Минос целиком создал социально-политическую жизнь и нравы критян, а Ликург оказал подобную же услугу Спарте. Если спартанцы „презирали" материальное богатство, то этим они обязаны были именно Ликургу, который „спустился, так сказать, на дно сердца своих сограждан и подавил там зародыши любви к богатствам" [1]). А если спартанцы покинули впоследствии путь, указанный им мудрым Ликургом, то в этом виноват был Лизандр, уверивший их в том, что „новые времена и новые обстоятельства требуют от них новых правил и новой политики [2]). Исследования, написанные с точки зрения такого взгляда, имели очень мало общего с наукой и писались, как проповеди, только ради вытекающих из них нравственных „уроков". Против таких-то взглядов и восстали французские историки времен реставрации. После потрясающих событий конца XVIII века уже решительно невозможно было думать, что история есть дело более или менее выдающихся и более или менее благородных и просвещенных личностей, по своему произволу внушающих непросвещенной, но послушной массе те или другие чувства и понятия. К тому же такая философия истории возмущала плебейскую гордость теоретиков буржуазии. Тут сказались те самые чувства, которые еще в XVIII веке обнаружились при возникновении буржуазной драмы. Тьерри употреблял в борьбе со старыми историческими взглядами, между прочим, те самые доводы, которые выдвинуты были Бомарше и другими против этой старой

[1]) См. Oeuvres complètes l'abbé de Mably, Londres, 1783, tom quatrième, p. 3, 14-22, 34 et 192.
[2]) Там же, p. 101.

эстетики [1]), наконец, бури, еще так недавно пережитые Францией, очень ясно показали, что ход исторических событий определяется далеко не одними только сознательными поступками людей; уже одно это обстоятельство должно было наводить на мысль о том, что эти события совершаются под влиянием какой-то скрытой необходимости, действующей, подобно стихийным силам природы, слепо, но сообразно известным непреложным законам. Чрезвычайно замечателен,—хотя до сих пор, насколько мы знаем, никем еще не указан,—тот факт, что новые взгляды на историю, как на законосообразный процесс, были наиболее последовательно проведены французскими историками реставрационной эпохи, именно в сочинениях, посвященных французской революции. Таковы были, между прочим, сочинения Минье. Шатобриан назвал новую историческую школу фаталистической. Формулируя задачи, которые она ставила перед исследователем, он говорил: „Эта система требует, чтобы историк повествовал без негодования о самых свирепых зверствах, говорил без любви о самых высоких добродетелях и своим ледяным взором видел в общественной жизни лишь проявление неотразимых законов, в виду которых всякое явление совершается именно так, как оно неизбежно должно было совершиться“ [2]). Это, конечно, неверно. Новая школа вовсе не требовала бесстрастия от историка. Огюстен Тьерри даже прямо заявил, что политические страсти, изощряя ум исследователя, могут послужить могущественным средством открытия истины [3]). И достаточно хоть немного ознакомиться с историческими сочинениями Гизо, Тьерри или Минье, чтобы увидеть, что они очень горячо сочувствовали буржуазии как в ее борьбе с светской

---

[1]) Сравни первое из писем об «Истории Франции» с «Опытом о серьезном драматическом театре» в первом томе «Oeuvres complètes» Бомарше.

[2]) Oeuvres complètes de Chateabriand, Paris, 1840. VII, p. 58. Рекомендуем вниманию читателя также следующую страницу: можно подумать, что ее написал г. Ник. Михайловский.

[3]) См. Considérations sur l'histoire France, приложенные к «Recits des temps Merovingiens», Paris, 1840, p. 72.

и духовной аристократией, так и в ее стремлении подавить требования нарождавшегося пролетариата. Но неоспоримо вот что. Новая историческая школа возникла в двадцатых годах XIX века, т.-е. в такое время, когда аристократия была уже побеждена буржуазией, хотя и пыталась еще восстановить кое-что из своих старых привилегий. Гордое сознание победы их класса сказывалось во всех рассуждениях историков новой школы. А так как буржуазия рыцарскою тонкостью чувств никогда не отличалась, то в рассуждениях ее ученых представителей слышно было иногда жестокое отношение к побежденным. „Сильный поглощает слабого, — говорит Гизо в одной из своих полемических брошюр,—и он имеет право на это". Не менее жестоко его отношение к рабочему классу. Эта жестокость, принимавшая по временам форму спокойного бесстрастия и ввела в заблуждение Шатобриана. Кроме того, тогда еще не вполне ясно было, как надо понимать закономерность исторического движения. Наконец, новая школа могла показаться фаталистической именно потому, что, стремясь стать твердой ногой на точку зрения закономерности, она мало занималась великими историческими личностями[1]). С этим трудно было помириться людям, воспитавшимся на исторических идеях восемнадцатого века. Возражения посыпались на новых историков со всех сторон, и тогда завязался спор не кончившийся, как мы видели, еще и поныне.

В январе 1826 г. Сент-Бев писал в „Globe" по поводу выхода в свет пятого и шестого томов „Истории французской революции", Минье. „В каждую данную минуту человек может внезапным решением своей воли ввести в ход событий новую, неожиданную и изменчивую силу, которая способна придать ему иное направление, но которая, однако, сама не поддается измерению вследствие своей

[1]) В статье, посвященной 3-му изданию «Истории французской революции» Минье, Сент-Бев так характеризовал отношение этого историка к личностям: «A la rue des vastes et profondes émotions populaires qu'il avait á décrire au spectacle de l'impuissance et du néant on tombent les plus sublimes gènies, les vertus les plus saintes, alors que les masses se soulèvent il s'est pris de pitié pour les induidus, n'a vu eux pris isolement bue faiblesse, et ne leur a reconnu d'action efficace, que dans leur union avu la multitude».

изменчивости". Не надо думать, что Сент-Бев полагал, будто „внезапные решения" человеческой воли являются без всякой причины. Нет, это было бы слишком наивно. Он только утверждал, что умственные и нравственные свойства человека, играющего более или менее важную роль в общественной жизни, его таланты, знания, решительность или нерешительность, храбрость или трусость и т. д. не могут остаться без заметного влияния на ход и исход событий, а, между тем, эти свойства об'ясняются не одними только общими законами народного развития, они всегда и в значительной степени складываются под действием того, что можно назвать случайностями частной жизни. Приведем несколько примеров для пояснения этой, кажется, впрочем, и без того ясной мысли.

В войне за австрийское наследство французские войска одержали несколько блестящих побед, и Франция могла, повидимому, добиться от Австрии уступки довольно обширной территории в нынешней Бельгии; но Людовик XV не требовал этой уступки, потому что он воевал, по его словам, не как купец, а как король, и Аахенский мир ничего не дал французам; а если бы у Людовика XV был другой характер, то может быть увеличилась бы территория Франции, вследствии чего несколько изменился бы ход ее экономического и политического развития.

Семилетнюю войну Франция вела, как известно, уже в союзе с Австрией. Говорят, что этот союз был заключен при сильном содействии г-жи Помпадур, чрезвычайно польщенной тем, что гордая Мария-Тереза назвала ее в письме к ней своей кузиной или своей дорогой подругой. Можно сказать поэтому, что если бы Людовик XV имел более строгие нравы или если бы он менее поддавался влиянию фавориток, то г-жа Помпадур не приобрела бы такого влияния на ход событий, и они приняли бы другой оборот.

Далее. Семилетняя война была неудачна для Франции: ее генералы потерпели несколько постыднейших поражений. Вообще они вели себя более чем странно. Ришелье занимался грабежом, а Су-

биз и Брольи постоянно мешали друг другу. Так, когда Брольи атаковал неприятеля при Филлингаузене, Субиз слышал пушечные выстрелы, но не пошел на помощь к товарищу, как это было условлено и как он, без сомнения, должен был сделать, и Брольи вынужден был отступить[1]). Крайне неспособному Субизу покровительствовала та же г-жа Помпадур. И можно опять сказать, что если бы Людовик XV был менее сластолюбив или если бы его фаворитка не вмешивалась в политику, то события не сложились бы так неблагоприятно для Франции.

Французские историки говорят, что Франции вовсе и не нужно было воевать на европейском материке, а следовало сосредоточить все свои усилия на море, чтобы отстоять от посягательства Англии свои колонии. Если же она поступила иначе, то тут опять была виновата неизбежная г-жа Помпадур, желавшая угодить „своей дорогой подруге" Марии-Терезе. Вследствии семилетней войны Франция лишилась лучших своих колоний, что, без сомнения, сильно повлияло на развитие ее экономических отношений. Женское тщеславие выступает здесь перед нами в роли влиятельного „фактора" экономического развития.

Нужны ли другие примеры? Приведем еще один, может быть, наиболее поразительный. Во время той же семилетней войны, в августе 1761 г., австрийские войска, соединившись с русскими в Силезии, окружили Фридриха около Штригау. Его положение было отчаянное, но союзники медлили нападением, и генерал Бутурлин, простояв 20 дней перед неприятелем, даже совсем ушел из Силезии, оставив там только часть своих сил для подкрепления австрийского генерала Лаудона. Лаудон взял Швейдниц, около которого стоял Фридрих, но этот успех был маловажен. А если бы Бутурлин имел более решительный характер? Если бы союзники напали на Фридриха, не дав ему окопаться в своем лагере?

[1]) Другие говорят, впрочем, что виноват был не Субиз, а Брольи, который не стал ждать своего товарища, не желая делить с ним славу победы. Для нас это не имеет никакого значения, так как ни мало не изменяет дела.

Возможно, что они разбили бы его на-голову, и он должен был бы подчиниться всем требованиям победителей. И это произошло едва за несколько месяцев до того, как новая случайность, смерть императрицы Елисаветы, сразу и сильно изменила положение дел в благоприятном для Фридриха смысле. Спрашивается, что было бы, если бы Бутурлин имел больше решительности или если бы его место занимал человек подобный Суворову?

Разбирая взгляды историков-„фаталистов", Сент-Бев высказал еще и другое соображение, на которое тоже следует обратить внимание. В цитированной уже нами статье об „Истории французской революции" Минье, он доказывал, что ход и исход французской революции обусловлены были не только теми общими причинами, которые ее вызвали, и не только теми страстями, которые она вызвала в свою очередь, но также и множеством мелких явлений, ускользающих от внимания исследователя и даже совсем не входящих в число общественных явлений, собственно так-называемых. „В то время, как действовали эти (вызванные общественными явлениями) страсти,—писал он,—физические и физиологические силы природы тоже не бездействовали: камень продолжал подчиняться силе тяжести; кровь не переставала обращаться в жилах. Неужели не изменился бы ход событий, если бы, положим, Мирабо не умер от горячки; если бы случайно упавший кирпич или апоплексический удар убил Робеспьера; если бы пуля сразила Бонапарта? И неужели вы решитесь утверждать, что исход их был бы тот же самый? При достаточном числе случайностей, подобных предположенным мною, он мог бы быть совершенно противоположен тому, который, по-вашему, был неизбежен. А ведь я имею право предполагать такие случайности, потому что их не исключают ни общие причины революции, ни страсти, порожденные этими общими причинами". Он приводит далее известное замечание о том, что история пошла бы совсем иначе, если бы нос Клеопатры был несколько короче, и в заключение признавая, что в защиту взгляда Минье можно ска-

зать очень многое, он еще раз указывает, в чем заключается ошибка этого автора. Минье приписывает действию одних только общих причин те результаты, появлению которых способствовало также множество других, мелких, темных и неуловимых причин; его строгий ум как бы не хочет признать существования того, в чем он не видит порядка и законосообразности.

VI.

Основательны ли возражения Сент-Бева? Кажется, в них есть некоторая доля истины. Но какая же именно? Чтобы определить ее, рассмотрим сначала ту мысль, что человек может „внезапными решениями своей воли" ввести в ход событий новую силу, способную значительно изменить его. Мы привели несколько примеров, как нам кажется, хорошо ее поясняющих. Вдумаемся в эти примеры.

Всем известно, что в царствование Людовика XV военное дело все более и более падало во Франции. По замечанию Анри Мартэна, во время семилетней войны французские войска, за которыми всегда тянулось множество публичных женщин, торговцев и слуг, и в которых было втрое больше обозных лошадей, чем верховых, напоминали собою скорее полчища Дария и Ксеркса, чем армии Тюрэнна и Густава-Адольфа[1]). Архенгольц говорит в своей истории этой войны, что французские офицеры, назначенные в караул, часто покидали вверенные им посты, отправляясь потанцовать где-нибудь по соседству, и исполняли приказания начальства только тогда, когда находили это нужным и удобным. Такое жалкое положение военного дела обусловливалось упадком дворянства, которое продолжало, однако, занимать все высшие должности в армии, и общим расстройством всего „старого порядка", быстро шедшего к своему разрушению. Одних этих общих причин было бы вполне до-

[1]) «Histoire de France», 4-ème èdition T. XV, p. 520—521.

статочно для того, чтобы придать семилетней войне невыгодный для Франции оборот. Но несомненно, что неспособность генералов, подобных Субизу, еще более умножила для французской армии шансы неудачи, обусловленные общими причинами. А так как Субиз держался благодаря г-же Помпадур, то необходимо признать, что тщеславная маркиза была одним из „факторов" значительно усиливших неблагоприятное для Франции влияние общих причин на положение дел во время семилетней войны.

Маркиза де-Помпадур сильна была не своей собственной силой, а властью короля, подчинившегося ее воле. Можно ли сказать, что характер Людовика XV был именно таков, каким он непременно должен бы быть по общему ходу развития общественных отношений во Франции? Нет, при том же самом ходе этого развития на его месте мог оказаться король, иначе относившийся к женщинам. Сент-Бев сказал бы, что для этого достаточно было бы действия темных и неуловимых физиологических причин. И он был бы прав. Но если так, то выходит, что эти темные физиологические причины, повлияв на ход и исход семилетней войны, тем самым повлияли и на дальнейшее развитие Франции, которое пошло бы иначе, если бы семилетняя война не лишила ее большей части колоний. Спрашивается, не противоречит ли этот вывод понятию о закономерности общественного развития?

Нет, нисколько. Как ни несомненно в указанных случаях действие личных особенностей, не менее несомненно и то, что оно могло совершиться лишь при данных общественных условиях. После сражения при Росбахе французы страшно негодовали на покровительницу Субиза. Она каждый день получала множество анонимных писем, полных угроз и оскорблений. Это очень сильно волновало г-жу Помпадур; она стала страдать бессонницей[1]). Но она все-таки продолжала поддерживать Субиза. В 1762 г. она, заметив ему в одном

[1]) См. «Mémoires de madame du Haliffet». Paris, 1824, стр. 181.

из своих писем, что он не оправдал возложенных на него надежд,—прибавила: „Не бойтесь, однако, ничего, я позабочусь о ваших интересах и постараюсь примирить вас с королем“[1]). Как видите, она не уступила общественному мнению. Почему же не уступила? Вероятно потому, что тогдашнее французское общество не имело возможности принудить ее к уступкам. А почему же тогдашнее французское общество не могло делать этого? Ему препятствовала в этом его организация, которая, в свою очередь, зависела от соотношения тогдашних общественных сил во Франции. Следовательно, соотношением этих сил и об'ясняется в последнем счете то обстоятельство, что характер Людовика XV и прихоти его фавориток могли иметь такое печальное влияние на судьбу Франции. Ведь если бы слабостью по отношению к женскому полу отличался не король, а какой-нибудь королевский повар или конюх, то она не имела бы никакого исторического значения. Ясно, что дело тут не в слабости, а в общественном положении лица, страдающего ею. Читатель понимает, что эти рассуждения могут быть применены и ко всем другим вышеприведенным примерам. В этих рассуждениях нужно лишь изменить то, что подлежит изменению, например, вместо Франции поставить Россию, вместо Субиза—Бутурлина и т. д. Поэтому мы не будем повторять их.

Выходит, что личности, благодаря данным особенностям своего характера, могут влиять на судьбу общества. Иногда влияние бывает даже очень значительно, но как самая возможность подобного влияния, так и размеры его определяются организацией общества, соотношением его сил. Характер личности является „фактором“ общественного развития лишь там, лишь тогда и лишь постольку, где, когда и поскольку ей позволяют это общественные отношения.

Нам могут заметить, что размеры личного влияния зависят также и от талантов личности. Мы

---

[1]) См. «Lettres de la marquise de Pompadur», Londres. 1772, t. I.

согласимся с этим. Но личность может проявить свои таланты только тогда, когда она займет необходимое для этого положение в обществе. Почему судьба Франции могла оказаться в руках человека, лишенного всякой способности и охоты к общественному служению? Потому что такова была ее общественная организация. Этой организацией и определяются в каждое данное время те роли, а, следовательно, и то общественное значение, которые могут выпасть на долю даровитых или бездарных личностей.

Но если роли личностей определяются организацией общества, то каким же образом их общественное влияние, обусловленное этими ролями, может противоречить понятию о законосообразности общественного развития? Оно не только не противоречит ему, но служит одной из самых ярких его иллюстраций.

Но тут надо заметить вот что. Обусловленная организацией общества возможность обшественного влияния личностей открывает дверь влиянию на исторические судьбы народов для так-называемых случайностей. Сластолюбие Людовика XV было необходимым следствием состояния его организма. Но по отношению к общему ходу развития Франции это состояние было случайно. А между тем оно не осталось, как мы уже сказали, без влияния на дальнейшую судьбу Франции и само вошло в число причин, обусловивших собою эту судьбу. Смерть Мирабо, конечно, причинена была вполне законосообразными патологическими процессами. Но необходимость этих процессов вытекало вовсе не из общего хода развития Франции, а из некоторых частных особенностей организма знаменитого оратора и из тех физических условий, при которых он заразился. По отношению к общему ходу развития Франции эти особенности и эти условия являются случайными. А между тем смерть Мирабо повлияла на дальнейший ход революции и вошла в число причин, обусловивших его собою.

Еще поразительнее действие случайных причин в вышеприведенном примере Фридриха II, вышед-

шего из крайне затруднительного положения лишь благодаря нерешительности Бутурлина. Назначение Бутурлина даже по отношению к общему ходу развития России могло быть случайным в определенном нами смысле этого слова, а к общему ходу развития Пруссии оно, конечно, не имело никакого отношения. А между тем не лишено вероятия то предположение, что нерешительность Бутурлина выручила Фридриха из отчаянного положения. Если бы на месте Бутурлина был Суворов, то, может быть, история Пруссии пошла бы иначе. Выходит, что судьба государств зависит иногда от случайностей, которые можно назвать *случайностями второй степени*. „Во всем конечном есть элемент случайного",—говорил Гегель. В науке мы имеем дело только с „конечным"; поэтому можно сказать, что во всех процессах, изучаемых ею, есть элемент случайности. Не исключает ли это возможность научного познания явлений? Нет. *Случайность есть нечто относительное*. Она является лишь в точке пересечения *необходимых* процессов. Появление европейцев в Америке было для жителей Мексики и Перу *случайностью* в том смысле, что не вытекало из общественного развития этих стран. Но не случайностью была страсть к мореплаванию, овладевшая западными европейцами в конце средних веков; не случайностью было то обстоятельство, что сила европейцев легко преодолела сопротивление туземцев. Не случайны были и последствия завоевания Мексики и Перу европейцами; эти последствия определились в конце-концов в равнодействующую двух сил: экономического положения завоеванных стран, с одной стороны, и экономического положения завоевателей—с другой. А эти силы, как и их равнодействующая, вполне могут быть предметом строгого научного исследования.

Случайности семилетней войны имели большое влияние на дальнейшую историю Пруссии. Но их влияние было бы совсем не таково, если бы они застали ее на другой стадии развития. Последствия случайностей и здесь были определены равнодей-

ствующей двух сил: социльно-политического состояния Пруссии, с одной стороны, и социально-политического состояния влиявших на нее европейских государств—с другой. Следовательно, и здесь случайность нисколько не мешает научному изучению явлений.

Теперь, мы знаем, что личности часто имеют большое влияние на судьбу общества, но что влияние это определяется его внутренним строем и его отношением к другим обществам. Но этим еще не исчерпан вопрос о роли личности в истории. Мы должны подойти к нему еще с другой стороны.

Сент-Бев думал, что при достаточном числе мелких и темных причин указанного им рода французская революция могла бы иметь исход *противоположный* тому, который мы знаем. Это большая ошибка. В какие бы замысловатые сплетения ни соединялись мелкие психологические и физиологические причины, они ни в каком случае не устранили бы великих общественных нужд, вызвавших французскую революцию; а пока эти нужды оставались бы неудовлетворенными, во Франции не прекратилось бы революционное движение. Чтобы исход его мог быть противоположен тому, который имел место в действительности, нужно было заменить эти нужды другими, им противоположными а этого, разумеется, никогда не в состоянии были бы сделать никакие сочетания мелких причин.

Причины французской революции заключались в свойствах *общественных отношений*, а предположенные Сент-Бевом мелкие причины могли корениться только в *индивидуальных особенностях* отдельных лиц. Последняя причина общественных отношений заключается в состоянии производительных сил. Оно зависит от индизидуальных особенностей отдельных лиц разве лишь в смысле большей или меньшей способности таких лиц к техническим совершенствованиям, открытиям и изобретениям. Сент-Бев имел в виду не такие особенности. А всевозможные другие особенности не обеспечивают отдельным лицам непосредственного влияния на состояние производительных сил, а, сле-

довательно, и на те общественные отношения, которые им обусловливаются, т.-е. на экономические отношения. Каковы бы ни были особенности данной личности, она не может устранить данные экономические отношения, раз они соответствуют данному состоянию производительных сил. Но индивидуальные особенности личности делают ее более или менее годной для удовлетворения тех общественных нужд, которые вырастают на основе данных экономических отношений, или для противодействия такому удовлетворению. Насущнейшей общественной нуждою Франции конца XVIII века была замена устаревших политических учреждений другими, более соответствующими ее новому экономическому строю. Наиболее видными и полезными общественными деятелями того времени были именно те, которые лучше всех других способны были содействовать удовлетворению этой насущнейшей нужды. Положим, что такими людьми были Мирабо, Робеспьер и Бонапарт. Что было бы, если бы преждевременная смерть не устранила Мирабо с политической сцены? Партия конституционной монархии долее сохранила бы крупную силу; ее сопротивление республиканцам было бы поэтому энергичнее. Но и только. Никакой Мирабо не мог тогда предотвратить торжества республиканцев. Сила Мирабо целиком основывалась на сочувствии и на доверии к нему народа, а народ стремился к республике, так как двор раздражал его своей упрямой защитой старого порядка. Если только народ убедился бы, что Мирабо не сочувствует его республиканским стремлениям, он сам перестал бы сочувствовать Мирабо, и тогда великий оратор потерял бы почти всякое влияние, а затем, вероятно, пал бы жертвой того самого движения, которое он напрасно старался бы задержать. Приблизительно то же можно сказать и о Робеспьере. Допустим, что он в своей партии представлял собою совершенно незаменимую силу. Но он был, во всяком случае, не единственной ее силой. Если бы случайный удар кирпича убил его, скажем, в январе 1793 года, то его место, конечно, было бы занято кем-нибудь дру-

гим, и хотя бы этот другой был ниже его во всех смыслах, события все-таки пошли бы в том самом направлении, в каком они пошли при Робеспьере. Так, например, жирондисты, наверное, и в этом случае не миновали бы поражения; но возможно, что партия Робеспьера несколько раньше лишилась бы власти, так что мы говорили бы теперь не о термидорской, а о флориальской, прериальской или мессидорской реакции. Иные скажут, может быть, что Робеспьер своим неумолимым терроризмом ускорил, а не замедлил падение своей партии. Мы не станем рассматривать здесь это предположение, а примем его, как будто бы оно было вполне основательно. В таком случае нужно будет предположить, что падение партии Робеспьера совершилось бы, вместо термидора, в течении фруктидора или вандемьера, или брюмэра. Короче, оно совершилось бы, может быть, раньше, а может быть, позже, но все-таки непременно совершилось бы, потому что тот слой народа, на который опиралась эта партия, был вовсе не готов для продолжительного господства. О результатах же, „противоположных" тем, которые явились при энергичном содействии Робеспьера, во всяком случае не могло бы быть и речи.

Не могли бы они явиться и в том случае, если бы пуля поразила Бонапарта, скажем, в сражении при Арколе. То, что сделал он в итальянских и других походах, сделали бы другие генералы. Они, вероятно, не проявили бы таких талантов, как он, и не одержали бы таких блестящих побед. Но французская республика все-таки вышла бы победительницей из своих тогдашних войн, потому что ее солдаты были несравненно лучше всех европейских солдат. Что касается 18 брюмэра и его влияния на внутреннюю жизнь Франции, то и здесь общий ход и исход событий по существу были бы, вероятно, те же, что при Наполеоне. Республика, на смерть пораженная 9 термидора, умирала медленной смертью. Директория не могла восстановить порядок, которого больше всего жаждала теперь буржуазия, избавившаяся от господства высших сосло

вий. Для восстановления порядка нужна была „хорошая шпага", как выражался Сийэс. Сначала думали, что роль благодетельной шпаги сыграет генерал Журдан, а когда он был убит при Нови, стали говорить о Моро, о Макдональде, о Бернадотте[1]). О Бонапарте заговорили уже после; а если бы он был убит, подобно Журдану, то о нем и совсем не вспомнили бы, выдвинув вперед какую-нибудь другую „шпагу". Само собою разумеется, что человек, возводимый событиями в звание диктатора, должен был с своей стороны неутомимо пробиваться к власти, энергично расталкивая и беспощадно давя всех, заграждавших ему дорогу. У Бонапарта была железная энергия, и он ничего не щадил для достижения своих целей. Но и кроме него тогда было не мало энергичных, талантливых и честолюбивых эгоистов. Место, которое ему удалось занять, наверное, не осталось бы незанятым. Положим, что другой генерал, добившись этого места, был бы миролюбивее Наполеона, что он не восстановил бы против себя всей Европы, потому умер бы в Тюльери, а не на острове святой Елены. Тогда Бурбоны вовсе не возвратились бы во Францию; для них такой результат был бы, конечно, „противоположен" тому, который получился на самом дале. Но по своему отношению ко всей внутренней жизни Франции он мало чем отличался бы от действительного результата. „Хорошая шпага", восстановив порядок и обеспечив господство буржуазии, скоро надоела бы ей своими казарменными привычками и своим деспотизмом. Началось бы либеральное движение, подобное тому, которое происходило при реставрации; борьба постепенно бы стала разгораться, а так как „хорошие шпаги" не отличаются уступчивостью, то, может быть добродетельный Луи-Филипп сел бы на трон своих нежнолюбимых родственников не в 1830, а в 1820 или 1825 году. Все такие изменения в ходе событий могли бы отчасти повлиять на дальнейшую поли-

---

[1]) La vie en France jours le premier Empire par le vicomte de Broc,

тическую, а через ее посредство и на экономическую жизнь Европы. Но окончательный исход революционного движения все-таки ни в каком случае не был бы „противоположен" действительному исходу. Влиятельные личности, благодаря особенностям своего ума и характера могут изменить индивидуальную физиономию событий и некоторые частные их последствия, но они не могут изменить их общее направление, которое определяется другими силами.

VII.

Кроме того, надо заметить еще и вот что. Рассуждая о роли великих личностей в истории, мы почти всегда делаемся жертвой некоторого оптического обмана, на который полезно будет указать читателям.

Выступив в роли „хорошей шпаги", спасающей общественный порядок, Наполеон тем самым устранил от этой роли всех других генералов, из которых иные может быть сыграли бы ее так же или почти так же, как и он. Раз общественная потребность в энергическом военном правителе была удовлетворена, общественная организация загородила всем другим военным талантам дорогу к месту военного правителя. Ее сила стала силой неблагоприятной для проявления других талантов этого рода. Благодаря этому и происходит тот оптический обман, о котором мы говорим. Личная сила Наполеона является нам в крайне преувеличенном виде, так как мы относим на ее счет всю ту общественную силу, которая выдвинула и поддерживала ее. Она кажется чем-то совершенно исключительным, потому что другие, подобные ей силы не перешли из возможности в действительность. И когда нам говорят: а что было бы, если бы не было Наполеона, то наше воображение пугается, и нам кажется, что без него совсем не могло бы совершиться все то общественное

движение, на котором основывались его сила и влияние.

В истории умственного развития человечества успех одной личности несравненно реже препятствует успеху другой. Но и там мы не свободны от указанного оптического обмана. Когда данное положение общества ставит перед его духовными выразителями известные задачи, они привлекают к себе внимание выдающихся умов до тех пор, пока им не удастся решить их. А раз им удается это, внимание их направляется на другой предмет. Решив задачу, данный талант А, тем самым направляет внимание таланта В от этой, уже решенной, задачи к другой задаче. И когда вас спрашивают, что было бы, если бы А умер, не успев решить задачу X, мы воображаем, что порвалась бы нить умственного развития общества. Мы забываем, что в случае смерти А, за решение задачи мог бы взяться В или С, или D, и что таким образом нить умственного развития осталась бы целой, несмотря на преждевременную гибель А.

Чтобы человек, обладающий талантом известного рода, приобрел, благодаря ему, большое влияние на ход событий, нужно соблюдение двух условий. Во-первых, его талант должен сделать его более других соответствующим общественным нуждам данной эпохи: если бы Наполеон вместо своего военного гения обладал музыкальным дарованием Бетховена, то он, конечно, не сделался бы императором. Во-вторых, существующий общественный строй не должен заграждать дорогу личности, имеющей данную особенность, нужную и полезную как раз в это время. Тот же Наполеон умер бы мало известным генералом или полковником Буонапарте, если бы старый режим просуществовал во Франции лишних семьдесят пять лет[1]). В 1789 году Даву, Дезэ, Мармон и Макдональд бы-

[1]) Возможно, что тогда Наполеон уехал бы в Россию, куда он собирался ехать, едва за несколько лет до революции. Здесь он отличился бы, вероятно, в битвах с турками или с кавказскими горцами, но никто не подумал бы здесь, что этот бедный, но способный офицер при благоприятных обстоятельствах мог бы сделаться господином мира.

ли подпоручиками, Бернадотт—сержантом-майором; Гош, Марсо, Лефевр, Пишегрю, Ней, Массэна, Мюрат, Сульт — унтер офицерами; Ожэро—учителем фехтования; Ланн — красильщиком; Гувион Сен-Сир—актером; Журдан разносчиком; Бессьер—парикмахером; Брюн—наборщиком; Жубер и Жюно — студентами юридического факультета; Клебер — архитектором; Мортье не поступал на военную службу вплоть до революции [1]).

Если бы старый режим продолжал существовать до наших дней, то никому из нас и в голову не пришло бы теперь, что в конце прошлого века во Франции некоторые актеры, наборщики, парикмахеры, красильщики, юристы, разносчики и учителя фехтования были военными талантами в возможности.

Стэндаль замечает, что человек, родившийся одновременно с Тицианом, т.-е. в 1477 г. мог бы прожить 40 лет с Рафаэлем и Леонардо-да-Винчи, из которых первый умер в 1520, а второй в 1519 году, что он мог бы провести долгие годы с Корреджио, умершим в 1534 году, и с Микель Анджело, прожившим до 1563 года, что ему было бы не больше тридцати четырех лет, когда умер Джиорджиони, что он мог бы быть знаком с Тинторэтто, Бассано, Веронезе, Юлием Романо и Андреем дель-Сарто; что, одним словом, он был бы современником всех великих живописцев, за исключением тех, которые принадлежат к Болонской школе, явившейся целым столетием позже [2]). Точно также можно сказать, что человек, родившийся в одном году с Воуэрманном, мог бы лично знать почти всех великих живописцев Голландии [3]), а ровесник Шекспира

---

[1]) При Людовике XV только один представитель третьего сословия Шэвер, мог дослужиться до чина генерал-лейтенанта. При Людовике XVI еще более затруднена была военная карьера людей этого сословия. См. Rambeaud. Histoir de la civilisation française sixiéme èdition, t. II, p. 2-6.

[2]) Histoire de la Peinture en Italie, Paris, 1849, pp. 23—25.

[3]) В 1608 г. родились Тербург, Броуэр и Рембрандт; в 1610—Адриан Ван-Остаде и Фердинанд Боль; в 1615—Ван-дер-Гельст и Жерар-Доу; в 1615—Метцу; в 1620—Воуэрманн; в 1621—Верникс, Эвердинген и Пай-

жил одновременно с целым рядом замечательных драматургов [1]).

Давно уже было замечено, что таланты являются всюду и всегда, где и когда существуют общественные условия, благоприятные для их развития. Это значит, что всякий талант, проявившийся в действительности, т.-е. всякий талант, ставший общественной силой, есть плод общественных отношений. Но если это так, то понятно, почему талантливые люди могут, как мы сказали, изменить лишь индивидуальную физиономию, а не общее направление событий; они сами существуют только благодаря такому направлению; если бы не оно, то они никогда не перешагнули бы порога, отделяющего возможность от действительности.

Само собою понятно, что талант таланту рознь. „Когда новый шаг в развитии цивилизации вызывает к жизни новый род искусства, — справедливо говорит Тэн, — являются десятки талантов, выражающих общественную мысль только наполовину, вокруг одного или двух гениев, выражающих ее в совершенстве" [2]). Если бы какие нибудь механические или физиологические причины, не связанные с общим ходом социально-политического и духовного развития Италии, еще в детстве убили Рафаэля, Микель-Анджело и Леонардо-да-Винчи, то итальянское искусство было бы менее совершенно, но общее направление его развития в эпоху возрождения осталось бы то же. Рафаэль, Леонардо-да-Винчи и Микель-Анджело не создали этого направле-

---

накер; в 1624—Бергем; в 1629—Пауль Поттер; в 1626—Ян Стеен; в 1630—Рюисдель; в 1637—Ван-дер-Гейден; в 1638—Гоббема; в 1639—Адриан Ванде-Вельде.

[1]) «Шекспир, Бьюмонт, Флетчер, Джонсон, Уэбстер, Мэссинджер, Форд, Миддльтон и Гейвуд, явившиеся в одно и то же время или один за другим, представляют собою новое поколение, которое, благодаря своему благоприятному положению, пышно расцвело на почве, подготовленной усилиями предыдущего поколения». Тэн, «Histoir de la litératur Anglaise», Paris, 1863. I, p. 468.

[2]) Там же, T. II, p. 5.

ния: они были только лучшими его выразителями. Правда, вокруг гениального человека возникает, обыкновенно, целая школа, причем его ученики стараются усвоить даже мельчайшие его приемы; поэтому пробел, который остался бы в итальянском искусстве эпохи Возрождения вследствии ранней смерти Рафаэля, Микель-Анджело и Леонардо-да-Винчи, оказал бы сильное влияние на многие второстепенные особенности в его дальнейшей истории. Но и эта история не изменилась бы по существу, если бы только не произошло, по каким-нибудь общим причинам, какого-нибудь существенного изменения в общем ходе духовного развития Италии.

Известно, однако, что количественные различия переходят, наконец, в качественные. Это верно везде; следовательно, верно и в истории. Данное течение в искусстве может совсем остаться без сколько-нибудь замечательного выражения, если неблагоприятное стечение обстоятельств унесет, одного за другим, несколько талантливых людей, которые могли бы стать его выразителями. Но преждевременная гибель таких людей помешает художественному выражению этого течения только в том случае, если оно недостаточно глубоко, чтобы выдвинуть новые таланты. А так как глубина всякого данного направления в литературе и искусстве определяется значением его для того класса или слоя, вкусы которого оно выражает, и общественною ролью этого класса или слоя, то и здесь все зависит в последнем счете от хода общественного развития и от соотношения общественных сил.

VIII.

Итак, личные особенности руководящих людей определяет собою индивидуальную физиономию исторических событий, и элемент случайности, в указанном нами смысле, всегда играет некоторую роль в ходе этих событий, направление которого определяется в последнем счете так-называемыми общими причинами, т.-е. на самом деле развитием производительных сил и взаимными отношениями людей в общественно-экономическом процессе производства. Случайные явления и личные особенности знаменитых людей несравненно заметнее, чем глубоко лежащие общие причины. Восемнадцатый век мало задумывался над этими общими причинами, об'ясняя историю сознательными поступками и „страстями" исторических деятелей. Философы того века утверждали, что история могла бы пойти совершенно другими путями под влиянием самых ничтожных причин,—например, вследствии того, что в голове какого-нибудь правителя зашалил бы какой-нибудь „атом" (соображение, не раз высказанное в „Системе природы" Гольбаха).

Защитники нового направления в исторической науке стали доказывать, что история не могла пойти иначе, чем она шла на самом деле, несмотря ни на какие „атомы". Стремясь как можно лучше оттенить действие общих причин, они оставляли без внимания значение личных особенностей исторических деятелей. У них выходило, что исторические события ни на волос не изменились бы от замены одних лиц другими, более или менее способными [1]). Но раз мы допускаем такое предположение мы необходимо должны признать, что личный элемент не имеет в истории ровно никакого значения, и что все сводится в ней к действию

[1]) Т.-е. выходило, когда они начичали рассуждать о законосообразности исторических событий, а когда некоторые из них просто описывали эти явления, то они подчас придавали личному элементу даже преувеличенное значение. Но нас интересует теперь не рассказы их, а рассуждения.

общих причин, общих законов исторического движения. Это была крайность, вовсе не оставлявшая места для той доли истины, которая заключалась в противоположном взгляде. Но именно поэтому противоположный взгляд продолжал сохранять за собою некоторое право на существование. Столкновение этих двух взглядов приняло вид антиномии, первым членом которой являлись общие законы, а вторым—деятельность личностей. С точки зрения второго члена антиномии история представлялась простым сцеплением случайностей; с точки зрения первого члена казалось, что действием общих причин были обусловлены даже индивидуальные черты исторических событий. Но если индивидуальные черты событий обусловливаются влиянием общих причин и не зависят от личных свойств исторических деятелей, то выходит что эти черты *определяются общими причинами* и не могут быть изменены, как бы ни изменились эти деятели. Теория принимает, таким образом, *фаталистический* характер.

Это не ускользнуло от внимания ее противников. Сент-Бев сравнивал исторические взгляды Минье с историческими взглядами Боссюэ. Боссюэ думал, что сила, действием которой совершаются исторические события, идет свыше, что события служат выражением божественной воли. Минье искал этой силы в человеческих страстях, проявляющихся в исторических событиях с неумолимостью и непреклонностью сил природы. Но оба они смотрели на историю, как на цепь таких явлений, которые ни в каком случае не могли бы быть иными; оба они—фаталисты; в этом отношении философ был близок к священнику.

Такой упрек оставался основательным до тех пор, пока учение о законосообразности общественных явлений приравнивало к нулю влияние на события личных особенностей выдающихся исторических деятелей. И этот упрек должен был производить тем более сильное впечатление, что историки новой школы, подобно историкам и философам во-

семнадцатого века, считали человеческую природу высшей инстанцией, из которой исходили и которой подчинялись все общие причины исторического движения. Так как французская революция показала, что исторические события обусловливаются не одними только сознательными поступками людей, то Минье, Гизо и другие ученые того же направления выдвигали на первый план действие страстей, часто сбрасывающих с себя всякий контроль сознания. Но если страсти являются последней и самой общей причиной исторических событий, то почему неправ Сент-Бев, утверждающий, что французская революция могла бы иметь исход, противоположный тому, который мы знаем, раз нашлись бы деятели, способные внушить французскому народу страсти, противоположные тем, которые его волновали? Минье сказал бы: потому что другие страсти не могли взволновать тогда французов по самым свойствам человеческой природы. В известном смысле это была бы правда. Но эта правда имела бы сильный фаталистический оттенок, так как она была бы равносильна тому положению, что история человечества во всех своих подробностях предопределена общими свойствами человеческой природы. Фатализм явился бы здесь как результат исчезновения индивидуального в общем. Впрочем, он и всегда является результатом такого исчезновения. Говорят: „если все общественные явления необходимы, то наша деятельность не может иметь никакого значения". Это неправильная формулировка правильной мысли. Надо сказать: если все делается посредством общего, то единичное, а в том числе и мои усилия не имеют никакого значения. Такой вывод правилен, только им неправильно пользуются. Он не имеет никакого смысла в применении к современному материалистическому взгляду на историю, в котором есть место и для единичного. Но он был основателен в применении ко взглядам французских историков времен реставрации.

В настоящее время нельзя уже считать человеческую природу последней и самой общей причиной исторического движения: если она постоянна, то она не может об'яснить крайне изменчивый ход истории, а если она изменяется, то, очевидно, что ее изменения сами обусловливаются историческим движением. В настоящее время последней и самой общей причиной исторического движения человечества надо признать развитие производительных сил, которыми обусловливаются последовательные изменения в общественных отношениях людей. Рядом с этой общей причиной действуют особенные причины, т.-е. та историческая обстановка, при которой совершается развитие производительных сил у данного народа и которая сама создана в последней инстанции развитием тех же сил у других народов, т.-е. той же общей причиной.

Наконец, влияние особенных причин дополняется действием причин единичных, т.-е. личных особенностей общественных деятелей и других „случайностей", благодаря которым события получают, наконец, свою индивидуальную физиономию. Единичные причины не могут произвести коренных изменений в действии общих и особенных причин, которыми, к тому же, обусловливаются направление и пределы влияния единичных причин. Но все-таки несомненно, что история имела бы другую физиономию, если бы влиявшие на нее единичные причины были заменены другими причинами того же порядка.

Моно и Лампрехт до сих пор стоят на точке зрения человеческой природы. Лампрехт категорически и не однажды заявлял, что, по его мнению, социальная психика составляет коренную причину исторических явлений. Это большая ошибка, и благодаря такой ошибке само по себе очень похвальное желание принимать в соображение всю совокупность общественной жизни может привести лишь к бессодержательному, хотя и пухлому эклектизму или—у наиболее последовательных—к рассуждениям Каблица о сравнительном значении ума и чувства.

Но вернемся к нашему предмету. Великий человек велик не тем, что его личные особенности придают индивидуальную физиономию великим историческим событиям, а тем, что у него есть особенности, делающие его наиболее способным для служения великим общественным нуждам своего времени, возникшим под влиянием общих и особенных причин. Карлейль, в своем известном сочинении о героях, называет великих людей начинателями (Beginners). Это очень удачное название. Великий человек является именно начинателем, потому что он видит дальше других и хочет сильнее других. Он решает научные задачи, поставленные на очередь предыдущим ходом умственного развития общества; он указывает новые общественные нужды, созданные предыдущим развитием общественных отношений; он берет на себя почин удовлетворения этих нужд. Он—герой. Не в том смысле герой, что он будто бы может остановить или изменить естественный ход вещей, а в том, что его деятельность является сознательным и свободным выражением этого необходимого и бессознательного хода. В этом—все его значение, в этом—вся его сила. Но это—колоссальное значение, страшная сила.

Бисмарк говорил, что мы не можем делать историю, а должны ожидать, пока она сделается. Но кем же делается история? Она делается общественным человеком, который есть ее единственный „фактор". Общественный человек сам создает свои, т.-е. общественные, отношения. Но если он создает в данное время именно такие, а не другие отношения, то это происходит, разумеется, не без причины; это обусловливается состоянием его производительных сил. Никакой великий человек не может навязать обществу такие отношения, которые уже не соответствуют состоянию этих сил и еще не соответствуют ему. В этом смысле он, действительно, не может делать историю, и в этом случае он напрасно стал бы переставлять свои часы: он не ускорил бы течения времени и не повернул бы его назад. Тут Лампрехт совершенно

прав: даже находясь на вершине своего могущества, Бисмарк не мог бы вернуть Германию к натуральному хозяйству.

В общественных отношениях есть своя логика: пока люди находятся в данных взаимных отношениях, они непременно будут чувствовать, думать и поступать именно так, а не иначе. Против этой логики тоже напрасно стал бы бороться общественный деятель: естественный ход вещей (т.-е. эта же логика общественных отношений) обратил бы в ничто все его усилия. Но если я знаю, в какую сторону изменяются общественные отношения благодаря данным переменам в общественно-экономическом прецессе производства, то я знаю также, в каком направлении изменится и социальная психика; следовательно, я имею возможность влиять на нее. Влиять на социальную психику значит влиять на исторические события. Стало быть, в известном смысле я все-таки *могу делать историю* и мне нет надобности ждать, пока она „сделается".

Моно полагает, что действительно важные в истории события и личности важны только как знаки и символы развития учреждений и экономических условий. Это—справедливая, хотя и очень не точно выраженная мысль, но именно потому, что эта мысль справедлива, неосновательно противопоставлять деятельность великих людей „*медленному движению*" названных условий и учреждений. Более или менее медленное изменение „экономических условий" периодически ставит общество в необходимость более или менее быстро переделать свои учреждения. Такая переделка никогда не происходит „сама собою"; она всегда требует вмешательства *людей*, перед которыми возникают, таким образом, великие общественные задачи. Великими деятелями и называются те, которые больше других способствуют их решению. А *решить задачу* не значит быть только „символом" и „знаком" того, что она решена.

Нам кажется, что Моно сделал свое противопоставление главным образом потому, что увлекся

приятным словечком „медленные". Это словечко любят очень многие современные эволюционисты. Психологически такое пристрастие понятно: оно необходимо родится в благонамеренной среде умеренности и аккуратности... Но логически оно не выдерживает критики, как это показал Гегель.

И не для одних только „начинателей", не для одних „великих" людей открыто широкое поле действия. Оно открыто для всех, имеющих очи, чтобы видеть, уши, чтобы слышать, и сердце, чтобы любить своих ближних. Понятие великий есть понятие относительное. В нравственном смысле велик каждый, кто, по евангельскому выражению, „полагает душу свою за други своя".

ДИАЛЕКТИКА И ЛОГИКА.

Философия Маркса и Энгельса—не только материалистическая философия. Она есть диалектический материализм. А против этого учения возражают, говоря, во-первых, что диалектика сама по себе не выдерживает критики, а во-вторых, что именно материализм-то и несовместим с диалектикой. Остановимся на этих возражениях.

Читатель помнит, вероятно, как г. Бернштейн об'яснял вредным влиянием диалектики то, что он называл ошибками Маркса и Энгельса. Обычная логика держится формулы: „да-да и нет-нет", а диалектика превращает эту формулу в ее прямую противоположность „да—нет и нет—да". Не долюбливая этой последней „формулы", г. Бернштейн утверждал, что она способна ввести человека в самые опасные логические искушения и заблуждения. И с ним, вероятно, соглашалось огромное большинство так-называемых образованных читателей, потому что формула: „да-нет и нет-да", повидимому, резко противоречит основным и незыблемым законам мышления. Вот эту-то сторону дела нам и надо рассмотреть здесь.

„Основных законов мышления" считается три: 1) Закон тождества; 2) закон противоречия; 3) закон исключенного третьего.

Закон тождества (principium identitatis) гласит: А есть А (omne subjectum est predicatum sui) или, иначе, А—А.

Закон противоречия,—А не есть А,—представляет собою лишь отрицательную форму первого закона.

По закону исключенного третьего (principium exclusi tertii), два противоположных суж-

дения, исключающих одно другое, не могут быть оба ошибочны. В самом деле, А есть или В, или non—В; справедливость одного из этих суждений непременно означает ошибочность другого и наоборот. Середины тут нет и быть не может.

Ибервег замечает, что закон противоречия и закон исключенного третьего могут быть об'единены в следующем логическом правиле: на каждый вполне определенный—и понимаемый именно в этом вполне определенном смысле—вопрос о принадлежности данному предмету данного свойства надо отвечать или—да, или—нет и нельзя ответить: и да и нет [1]).

Трудно возразить что-нибудь против верности этого правила. А если оно верно, то формула „да—нет и нет—да" кажется совершенно несостоятельной, и нам остается лишь смеяться над нею, по примеру г. Бернштейна, да разводить руками по поводу вопроса о том, каким образом такие несомненно глубокие мыслители, как Гераклит, Гегель и Маркс, могли находить ее более удовлетворительной, чем формула: „да—да и нет—нет", прочно основывающаяся на вышеуказанных основных законах мышления.

Этот роковой для диалектики вывод кажется неотразимым. Но прежде, чем принять его, взглянем на дело с другой стороны.

Основу всех явлений природы составляет движение материи. Но что такое движение? Это есть очевидное противоречие. Если вас спросят: находится ли движущееся тело в данное время в данном месте, то вы при самом искреннем желании не в состоянии будете ответить согласно правилу Ибервега, т.-е. по формуле: „да—да и нет—нет". Движущееся тело находится в данном месте и в то же время не находится в нем. О нем нельзя судить иначе, как по формуле: „да—нет и нет—да". Оно является, стало быть, непререкаемым свидетельством в пользу „логики проти-

[1]) System der logik, Bonn, 1874, s. 21.

воречий", и кто не хочет помириться с этой логикой, тот должен об'явить, вместе со старым Зеноном, что движение есть не более, как обман чувств.

Всех же тех, которые не отрицают движения, мы спросим: что думать нам о том „основном законе" мышления, который противоречит основному факту бытия? Не следует ли нам относиться к нему... с некоторой осмотрительностью.

Выходит, как-будто, что мы неожиданно очутились перед альтернативой: или признать—основные законы формальной логики и отрицать движение; или, наоборот, признавать движение и отрицать эти законы. Такая альтернатива по меньшей мере неприятна. Посмотрим же, нельзя ли как-нибудь обойти ее?

Движение материи лежит в основе всех явлений природы. Движение есть противоречие. О нем необходимо судить диалектически, т.-е. как сказал бы г. Бернштейн, по формуле: „да—нет и нет—да". Поэтому мы должны признать, что пока речь идет у нас об этой основе всех явлений, мы находимся в области „логики противоречий". Но молекулы движущейся материи, соединяясь одни с другими, образуют известные сочетания,—вещи, предметы. Такие сочетания отличаются большею или меньшею прочностью, существуют более или менее продолжительное время, а затем исчезают, заменяясь другими: вечно одно движение материи, да сама она, неразрушимая субстанция. Но раз возникло, в результате вечного движения, известное временное сочетание материи и пока не исчезло оно в результате того же движения,—вопрос об его существовании необходимо решается в положительном смысле. Поэтому, если нам укажут на планету Венеры и спросят, существует ли эта планета, то мы, не колеблясь, ответим: да. А если нас спросят, существуют ли ведьмы, то мы столь же решительно ответим: нет. Что же это значит? Это значит, когда речь идет об отдельных предметах, то в суждениях о них мы обязаны

следовать вышеприведенному правилу Ибервега и вообще руководствоваться „основными законами" мышления. В этой области царствует любезная г. Бернштейну „формула": да—да и нет—нет.

Впрочем, и здесь власть этой почетной формулы не безгранична. На вопрос о существовании уже возникшего предмета надо отвечать определительно. Но если предмет только еще возникает, то иногда с полным основанием можно поколебаться в ответе. Когда у человека половина головы обнажена от волос, то мы говорим: у него большая лысина. Но подите определите, когда собственно выпадение волос приводит к образованию лысины.

На каждый определенный вопрос о принадлежности данному предмету данного свойства надо отвечать или: да, или: нет. Это не подлежит сомнению. Но как прикажете отвечать в том случае, когда предмет изменяется, когда он уже утрачивает данное свойство или пока еще только приобретает его? Само собой разумеется, что определенный ответ обязателен и в этом случае; но в том-то и дело, что определенным будет здесь только ответ, построенный по формуле: „да—нет и нет—да", а по рекомендуемой Ибервегом формуле: „или да, или нет", на него и отвечать невозможно.

Конечно, можно возразить, что утрачиваемое свойство еще не перестало существовать, а приобретаемое—уже существует, и что, поэтому, определенный ответ по формуле: „или да или нет" возможен и обязателен даже и тогда, когда предмет, о котором идет речь находится в состоянии изменения. Однако, это неверно. Юноша, на подбородке которого начинает пробиваться „пушок", несомненно уже приобретает бороду, но это еще не дает нам права называть его бородатым. Пушок на подбородке—не борода, хотя он превращается в бороду. Чтобы стать качественным, изменение должно достигнуть известного количественного предела. Кто за-

бывает об этом, тот именно лишается возможности высказывать определенные суждения о свойствах предметов.

„Все течет, все изменяется",—говорит древний эфесский мыслитель.—Сочетания, называемые нами предметами, находятся в состоянии постоянного,—более или менее быстрого,—изменения. Поскольку данные сочетания остаются данными сочетаниями мы обязаны судить о них по формуле: „да—да и нет—нет". А поскольку они изменяются и перестают существовать, как таковые, мы обязаны апеллировать к логике противоречия; мы должны говорить,—рискуя навлечь на себя неудовольствие гг. Бернштейнов, Н. Г. и прочей метафизической братии:—„и да, и нет, и существуют и не существуют".

Как покой есть частный случай движения, так и мышление по правилам формальной логики (согласно „основным законам" мысли) есть частный случай диалектического мышления.

О Кратиле, одном из учеников Платона, рассказывали, что он не соглашался даже с Гераклитом, говорившим: „мы не можем спуститься два раза по одной и той же реке". Кратиль утверждал, что мы не можем сделать это даже и один раз: пока мы спускаемся, река изменяется, становится другой. В таких суждениях элемент наличного бытия как бы отменяется элементом становления. Это злоупотребление диалектикой, а не правильное применение диалектического метода. Гегель замечает: „Das etwas ist die erste Negation der Negation" (нечто есть первое отрицание отрицания).

Те из наших критиков, которые не окончательно лишены знакомства с философской литературой, любят ссылаться на Тренделенбурга, который будто бы на голову разбил все доводы в пользу диалектики. Но эти господа, как видно, плохо читали,—если читали,—Тренделенбурга. Они позабыли,—если она была известна им, в чем отнюдь не уверен,—следующую безделицу. Тренделенбург признает, что principium contradictionis прило-

жим не к движению, а только к тем предметам, которые им создаются. И это верно. Но движение не только создает предметы. Оно, как мы сказали, постоянно изменяет их. И именно поэтому логика движения („логика противоречия") никогда не утрачивает своих прав над созданными движением предметами. И именно потому мы, отдавая должную дань „основным законам" формальной логики, должны помнить, что они имеют значение лишь в известных пределах, лишь в той мере, в какой они не мешают нам отдавать должное также и диалектике. Вот как оно выходит на самом деле по Тренделенбургу, хотя сам он и не сделал надлежащих логических выводов из высказанного им, — чрезвычайно важного для научной теории познания, — принципа.

Прибавим здесь мимоходом, что в „Logischen Untersuchungen" Тренделенбурга рассыпано много очень дельных замечений, говорящих не против нас, а в нашу пользу. Это может показаться странным; но это весьма просто объясняется тем весьма простым обстоятельством, что Тренделенбург воевал собственно с идеалистической диалектикой. Вот, например, он видит недостаток диалектики в том, что она утверждает самопроизвольное движение чистой мысли, являющейся в то же время самозарождением бытия (behauptet eine Selbstbewegung den reinen Gedankens, die zugleich die Selbsterzeugung der seins ist). Это в самом деле очень большая ошибка. Но кто же не понимает, что этот недостаток свойственен именно только идеалистической диалектике? Кто не знает, что когда Маркс захотел поставить диалектику „на ноги", он начал с исправления этой ее коренной ошибки, вызванной ее старой идеалистической основой? Другой пример. Тренделенбург говорит, что на самом деле у Гегеля движение есть фундамент той логики, которая для своего обоснования не нуждается будто бы ни в каких предположениях. Это опять совершенно верно; но ведь это опять довод в пользу материалистической диалектики. Третий и самый интересный пример.

По словам Тренделенбурга, напрасно думают будто у Гегеля природа есть только прикладная логика. Как раз наоборот: Гегелева логика вовсе не есть порождение чистой мысли; она создана предварительным абстрагированием от природы (eine anticipirte Abstraction der Natur). В диалектике Гегеля почти все взято из опыта, а если бы опыт отнял у нее то, что она у него заимствовала, то ей пришлось бы надеть нищенскую суму. Это так, именно так! Но ведь это то самое, что говорили ученики Гегеля, восставшие против идеализма своего учителя и перешедшие в материалистический лагерь.

Можно было бы привести еще много подобных примеров; но это отвлекло бы меня от моего предмета. Я хотел только показать нашим критикам, что на Тренделенбурга им, в борьбе с нами, пожалуй, лучше было бы совсем не ссылаться.

Пойдем дальше. Я сказал, что движение есть противоречие в действии и что, поэтому, к нему неприменимы „основные законы" формальной логики. Чтобы это положение не подало повода к недоразумениям, необходимо оговориться. Когда мы стоим перед вопросом о переходе одного вида движения в другой,—скажем, механического движения в теплоту, нам тоже приходится рассуждать согласно основному правилу Ибервега. Этот вид движения есть или теплота, или механическое движение, или и т. д. Это ясно. Но если это так, то основные законы формальной логики, в известных пределах применимы также и к движению. А отсюда еще раз следует, что диалектика не отменяет формальной логики, а только лишает ее законы, приписываемого им метафизиками, абсолютного значения.

Если читатель внимательно отнесся к тому, что сказано выше, то он без труда поймет, как мало „ценности" имеет та часто повторяемая мысль, что диалектика не согласима с материализмом. Напротив. В основе нашей диалектики лежит материалистическое понимание природы. Она на нем держится; она упала бы, если бы суждено было пасть материа-

лизму. И наоборот. Без диалектики неполна, одностороння, скажем больше: невозможна материалистическая теория познания.

У Гегеля диалектика совпадает с метафизикой. У нас диалектика опирается на учение о природе.

У Гегеля демиургом действительности,—чтобы употребить здесь это выражение Маркса,— была абсолютная идея. Для нас абсолютная идея есть лишь абстракция движения, которым вызываются все сочетания и состояния материи.

У Гегеля мышление движется вперед вследствие обнаружения и разрешения противоречий, заключающихся в понятиях. Согласно нашему,—материалистическому,—учению, противоречия, заключающиеся в понятиях представляют собою лишь отражение, перевод на язык мысли, тех противоречий, которые заключаются в явлениях, благодаря противоречивой природе их общей основы, т.-е. движения.

У Гегеля ход вещей определяется ходом идеи, у нас ход идей об'ясняется ходом вещей; ход мысли—ходом жизни.

Материализм ставит диалектику „на ноги" и тем самым снимает с нее то мистическое покрывало, которым она была окутана у Гегеля. Но тем же самым обнаруживает революционный характер диалектики.

„В своей мистифицированной форме,—говорит Маркс,—диалектика сделалась немецкой модой, потому что она, казалось, оправдывала существующий порядок вещей. В ее рациональном виде она ненавистна буржуазии и ее теоретическим вожакам, потому что в положительное понимание существующего она включает также понимание его отрицания и его неизбежного падения; потому, что она рассматривает всякую сложившуюся (точнее: ставшую, gewordene. Г. П.) форму в процессе движения, т.-е., стало быть, также и с ее преходящей стороны; потому, что она ни перед чем не склоняется,

будучи критической и революционной по своему существу“ [1]).

Что материалистическая диалектика ненавистна буржуазии, пропитанной духом реакции, это в порядке вещей; но что от нее отворачиваются иногда даже люди, искренно сочувствующие революционному социализму, это очень смешно и крайне грустно: это Геркулесовы столбы нелепости.

Теперь надо обратить внимание еще вот на что. Мы уже знаем, что прав был,—и в какой мере был прав,—Ибервег, требовавший от логически мыслящих людей определенных ответов на определенные вопросы о принадлежности данному предмету данного свойства. Но вообразите, что мы имеем дело не с простым, а со сложным предметом, об'единяющим в себе прямо-противоположные явления и потому сочетающим в себе прямо противоположные свойства. Приложимо ли требование Ибервега к суждениям о таком предмете? Нет, сам Ибервег,—столь же решительный противник гегелевской диалектики, как и Тренделенбург,—находит, что тут надо рассуждать уже согласно другому правилу, и именно, согласно правилу сочетания противоположностей (principium coincidentie oppositorum). Но огромнейшее большинство тех явлений, с которыми имеет дело естествознание и общественная наука, принадлежат к числу „предметов“ именно этого рода: в самом простом комочке протоплазмы, в жизни самого неразвитого общества об'единяются прямо-противоположные явления. Стало быть, в естествознании и в общественной науке необходимо отвести широкое место диалектическому методу. И с тех пор, как ему было отведено такое место в названных науках, они сделали поистине колоссальные успехи.

Хотите ли, читатель, знать, как завоевывала диалектика свои права в биологии? Припомните споры о том, что такое вид, вызванные появлением теории трансформизма. Дарвин и его сторонники

---

[1]) См. предисловие ко 2-му немецкому изданию 1-го тома «Капитала».

держались того мнения, что различные виды одного и того же рода животных или растений являются ни чем иным, как разнообразно развившимися потомками одной и той же первоначальной формы. Кроме того, согласно учению о развитии, все роды одного и того же порядка тоже происходят от одной общей формы, и то же самое нужно сказать обо всех порядках одного и того же класса. По противоположному взгляду противников Дарвина, все животные и растительные виды совершенно независимы один от другого, а от общей формы происходят только индивидуумы, принадлежащие к одному и тому же виду. То же понятие о виде выражал уже Линней, говоря: „видов существует столько, сколько их первоначально создало Высшее Существо". Это—чисто метафизический взгляд, потому что метафизик рассматривает вещи и понятия, как „отдельные, неизменные, застывшие, раз навсегда данные предметы, подлежащие исследованию один после другого и один независимо от другого" (Энгельс). А диалектик рассматривает вещи и понятия,—по словам того же Энгельса,—„в их взаимной связи, в их сцеплении, в их движении, в их возникновении и уничтожении". И этот взгляд проник в биологию со времени Дарвина и навсегда останется в ней, какие бы поправки ни вносило в теорию трансформизма дальнейшее развитие науки.

Чтобы понять важное значение диалектики в социологии достаточно вспомнить каким образом социализм из утопии превратился в науку.

Социалисты-утописты стояли на отвлеченной точке зрения человеческой природы и судили об общественных явлениях по формуле: „да-да и нет-нет". Собственность или соответствует человеческой природе или не соответствует ей; моногамическая семья или соответствует, или не соответствует этой природе и так далее, и так далее. Так как природа человека предполагалась неизменной, то социалисты имели право ожидать, что между многими возможными системами общественного устройства есть такая, которая соответствует наз-

ванной природе более, чем все другие. Отсюда—стремление найти эту наилучшую,—т.-е. наиболее соответствующую человеческой природе,—систему. Каждый основатель школы думал, что он нашел такую систему; каждый основатель школы предлагал свою утопию. Маркс внес в социализм диалектический метод и тем сделал его наукой, нанеся смертельный удар утопизму. У Маркса уже нет апелляции к человеческой природе; он не знает таких общественных учреждений, которые или соответствуют, или не соответствуют ей. Уже в „Нищете философии" мы встречаем следующий знаменательный и характерный упрек Прудону: „Г. Прудон не знает, что вся история есть не более, как постоянное изменение человеческой природы"[1]).

В „Капитале" Маркс говорит, что человек, действуя на внешний мир и видоизменяя его, изменяет тем самым и свою собственную природу[2]). Это диалектическая точка зрения, проливающая совсем новый свет на вопросы общественной жизни. Возьмем хоть вопрос о частной собственности. Утописты очень много писали и спорили между собою и с экономистами по вопросу о том, должна ли она существовать, т.-е. соответствует ли она человеческой природе. Маркс поставил этот вопрос на конкретную почву. По его учению, формы собственности и имущественные отношения определяются развитием производительных сил. Одной ступени развития этих сил соответствует одна форма; другой—другая, а абсолютного решения тут нет и не может быть, потому что все течет, все изменяется; „мудрость становится безумством, блаженство мукой".

Гегель говорит: „противоречие ведет вперед". И этому его диалектическому взгляду наука находит блестящее подтверждение в борьбе классов, забывая о которой нельзя ничего понять в развитии социальной и духовной жизни общества, разделившегося на классы.

---

[1]) Misère de la philosophie, nouvelle èdition, Paris, 1896, p. 204.

[2]) Das Kapital, III Auflage, S. S. 155—156.

Но почему—„логика противоречия“,—представляющая собою, как мы видели, отражение в человеческом уме вечного процесса движения,—называется диалектикой? Чтобы не входить в пространные рассуждения на этот счет, я даю слово Куно Фишеру:

„Человеческую жизнь можно сравнить с диалогом в том отношении, что с возрастом и жизненным опытом наши взгляды на людей и вещи постепенно преобразовываются, как мнения разговаривающих лиц в течении плодотворной и богатой идеями беседы. В этом непроизвольном и необходимом преобразовании наших взглядов на жизнь и мир состоит опыт. Поэтому Гегель, сравнивая ход развития сознания с ходом философской беседы, называет его словом диалектика или диалектическое движение. Это выражение применяли уже Платон, Аристотель и Кант в важном и различном у каждого из них смысле; но ни в одной системе оно не получило такого обширного значения, как у Гегеля“.

ПРИМЕЧАНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ.

1) **Стр. 12.** Мой друг Виктор Адлер совершенно верно заметил в статье, которую он опубликовал в день похорон Энгельса, что социализм, как его понимали Маркс и Энгельс, есть не только экономическое, но и универсальное учение. (Я цитирую по итальянскому изданию: Ф. Энгельс, Политическая экономия. С введением и био-библиографическими заметками Филиппа Турати, Виктора Адлера и Карла Каутского. Милан, 1895). Но чем вернее эта характеристика социализма, как его понимали Маркс и Энгельс, тем более странное впечатление производит, когда Виктор Адлер допускает возможность замены материалистической основы этого „универсального учения" Кантовской. Что приходится думать об универсальном учении, философская основа которого не стоит ни в какой связи со всем его стремлением? Энгельс писал: „Маркс и я были, кажется, единственными, которые перенесли сознательную диалектику в материалистическое понимание природы и истории". (См. предисловие к третьему изданию „Анти-Дюринга"). Из этого совершенно ясно вытекает, что отцы научного социализма, несмотря на некоторых своих современных последователей, были сознательными материалистами не только в области истории, но и в области естествознания.

2) **Стр. 12.** В специальной статье, посвященной Дицгену („Современный Мир", 1907 г., 7, перепечатана в сборнике „От обороны к нападению"), Плеханов доказывает, что „в сочинениях этого чрезвычайно даровитого рабочего не заключается решительно ни одного теоретического положения, которое можно было бы признать новым сравнительно с тем, что заключается в сочинениях Маркса, Энгельса и Фейербаха".

Плеханов ошибается, когда говорит, что до сих пор не было сделано попытки „дополнить Маркса" Фомою Аквинским. Известный немецкий католический писатель Вильгельм Гогоф в ряде очень интересных очерков, посвященных теориям Маркса, которого он считает величайшим экономистом всех времен, пытается доказать, что Маркс, в своей теории стоимости, сходится во многом с величайшим теологом средневековья. См. „Die Bedeutung der Marxsischen Kapitalkritik" (Значение Марксовой критики капитала). „Warenwert und Kapitalprofit". (Стоимость товаров и прибыль с капитала). Во Франции среди католических социалистов имеются такие же поклонники Маркса и Фомы Аквинского. (Д. Рязанов).

3) **Стр. 14.** Для характеристики эволюции философских воззрений Маркса представляет большое значение его письмо к Фейербаху от 30 октября 1843 г. Приглашая Фейербаха выступить против Шеллинга, Маркс пишет: „Вы для этого самый подходящий человек, ибо вы являетесь Шеллингом на изнанку. Вполне правильная юношеская мысль Шеллинга—мы должны признавать все хорошее и в нашем противнике, -для осуществления которой он, однако, не имел никаких способностей, кроме воображения, никакой энергии, кроме тщеславия, никакого стимула, кроме опиума; никакого органа. кроме раздражительности и женской способности восприимания,—эта правильная юношеская мысль Шеллинга, оставшаяся у него фантастическим видением юности, у вас превратилась в истину, в реальность, в мужественную серьезность. Шеллинг, поэтому является, вашим искаженным предвосхищением, а как только такому искажению противопоставляется действительность, то оно должно рассеяться. как пар, как облако. Я считаю вас поэтому необходимым, естественным, уполномоченным их величествами природой и историей, противником Шеллинга. Ваша борьба с ним это борьба самой философии с извращением этой философии". (К. Грюн, Людвиг Фейербах в его письмах и произведениях. Лейпциг, 1874, том первый, стр. 361). Согласно этому, Маркс, вероятно, понимал „юношескую мысль Шеллинга" в смысле материалистического монизма. Но Фейербах не разделял этого взгляда Маркса, как видно из его ответа Марксу. Он находит, что Шеллинг, уже в своих первых произведениях „только превращает идеализм мысли в идеализм воображения, вещам приписывает так же мало реальности, как и я, с той лишь разницей, что это имело другую видимость, потому что на место определенного я он поставил неопределенное — Абсолютное и придал идеализму пантеистический оттенок" (там же, стр. 402).

4) **Стр. 15.** Энгельс писал: „Ход развития Фейербаха есть превращение гегельянца,—правда, вполне проверенным гегельянцем он не был никогда,—в материалиста. На известной ступени этого развития он пришел к полному разрыву с идеалистической системой своего предшественника. С неудержимой силой овладело им, наконец, сознание того, что предвечное бытие „абсолютной идеи" и „логических категорий", существование которых, по Гегелю, предшествовало существованию мира, есть не более, как фантастический остаток веры в неземного творца; что вещественный, доступный нашим внешним чувствам мир, к которому принадлежим мы сами, есть единственный действительный мир, и что наше сознание и мышление порождаются вещественным органом, частью нашего тела,—мозгом—хотя и принадлежат, повидимому, к невещественному миру. Не материя порождается духом, а дух представляет собою высочайшее порождение материи. Это, конечно, уже чистый материализм". (Людвиг Фейербах, Штутгарт. 1907, стр. 17-18).

5) **Стр. 17.** Ф. Ланге утверждает: „Настоящий материалист всегда будет склонен направлять свой взор на всю совокупность внешней природы и рассматривать человека только как волну в океане вечного движения вещества. Природа человека является для материалиста только специальным случаем общей физиологии, как мышление есть только специальный случай в цепи психических жизненных процессов". (История материализма, т. 2, стр. 74. Лейпциг, 1902). Но и Теодор Дэзами в своем „Кодексе Коммуны" (Париж, 1843) тоже исходит от человеческой природы (человеческого организма), и несмотря на это, никто не усомнится, что он разделяет взгляды французского материализма XVIII столетия. Впрочем, Ланге совершенно не упоминает Дэзами, тогда как Маркс причисляет его к французским коммунистам, коммунизм которых был научнее, чем коммунизм, напр., Кабэ. „Дэзами, Гэ и другие французские коммунисты того же направления"—говорит Маркс—„развивают материалистическое учение, как учение реального гуманизма и логическую основу коммунизма" (Святое семейство). В то время, когда Маркс и Энгельс писали цитированное произведение, они еще расходились в оценке философии Фейербаха. Маркс называл ее „материализмом, совпадающим с гуманизмом" (подобно тому, как Фейербах в теории, французский и английский социализм и коммунизм являются на практике материализмом, совпадающим с гуманизмом). Маркс вообще рассматривал материализм, как необходимую теоретическую основу коммунизма и социализма. Энгельс напротив придерживался взгляда, что Фейербах раз навсегда покончил со старым противоположением спиритуализма и материализма. (Святое семейство). Позже, как мы видели, он также отмечает в развитии Фейербаха эволюцию от идеализма к материализму.

6) **Стр. 19.** Уже в это время Фейербах написал следующие примечательные строки: „Несмотря на всю противоположность между практическим, отрицающим всякую спекуляцию, реализмом в системах так-наз. сенсуализма и материализма англичан и французов и духом всего Спинозы, они все же имеют свое последнее основание в том взгляде на материю, который был выражен Спинозой, как метафизиком, в знаменитом положении: „материя—отрицает бога". (К. Грюн, Фейербах, т. I, стр. 324-25).

7) **Стр. 20.** В „Святом семействе" Маркс замечает: „Гегелевская история философии изображает французский материализм, как осуществление спинозовской субстанции".

8) **Стр. 20.** „Как познаем мы внешний мир? Как познаем мы внутренний мир? Мы не имеем ведь для нас другие средства, чем для других! Знаю ли я что-нибудь о себе без посредства чувств? Существую ли я, если я не существую вне себя, т.-е. вне моего представления? Но откуда я знаю, что я

существую? Но откуда я знаю, что я существую не в представлении, а чувственно, действительно, если я не воспринимаю себя при посредстве чувств". (Посмертные афоризмы Фейербаха в книге Грюна, т. II, 311 стр.).

9) **Стр. 21**. Тут мы особенно рекомендуем вниманию читателя ту мысль Энгельса, что законы внешней природы и законы, регулирующие телесное и духовное бытие человека, суть „две группы законов, которые мы в крайнем случае еще можем отделить в представлении, но никогда в действительности"(Анти-Дюринг). Это то же самое учение об единстве бытия и мышления, об'екта и суб'екта. О пространстве и времени смотри пятую главу первой части указанного сочинения. Из этой главы видно, что пространство и время были для Энгельса, как и для Фейербаха, не только формами созерцания, но и формами бытия.

10) **Стр. 22.** Фейербах сказал о своей философии: „Моя философия не может быть исчерпана пером, она не находит места на бумаге". Но это положение имело для него только теоретический смысл. Он заявляет дальше: „Ибо для нее"—т.-е. для философии Фейербаха—„истинным является не продуманное, а то что было не только продумано, но увидено, услышано и прочувствовано". (Посмертные афоризмы в книге Грюна, т. II, 306 стр.).

11) **Стр. 25.** Более того. По возвращении из ссылки, Чернышевский опубликовал статью „Характер человеческого знания". В ней он остроумно доказывает, что человек, сомневающийся в существовании внешнего мира, должен усомниться в своем собственном существовании. Чернышевский был и навсегда остался верным последователем Фейербаха. Основная мысль его статьи может быть выражена следующими словами Фейербаха: „Я отличаюсь от вещей и существ вне меня не потому, что я себя отличаю от них, но я отличаю себя, потому, что отличаюсь от них физически, органически, действительно. Сознание предполагает бытие, есть только осознанное бытие, сущее как сознанное, представленное". (Посмертные афоризмы в книге Грюна, т. II, 306 стр.).

12) **Стр. 27.** Фейербах называл мыслителей, которые хотели воскресить элементы старой философии, пережевывателями. Таких „пережевывателей", к сожалению, и теперь очень много. Они создали большую литературу в Германии, а отчасти, и во Франции, теперь они начинают размножаться и в России. (Богданову П. сканов посвятил несколько статей, перепечатанных в сборнике „От обороны к нападению", итальянскому ревизионисту Бенедетто-Кроче статью, перепечатанную в сборнике „Критика наших критиков". В последнем же сбор-

перепечатанные теперь в приложении к „Очеркам по истории материализма“ Плеханова — Библиотека Коммуниста, выпуск второй. (Д. Рязанов).

13) **Стр 28.** Точно также поступают Эрнст Мах и его последователи. Они сначала превращают ч у в с т в о в а н и е в самостоятельную, независящую от чувствующего т е л а сущность, которая у них называется элементом, и затем об'являют, что в этой сущности дано решение противоречия между бытием и мышлением, суб'ектом и об'ектом. Из этого видно, как велика ошибка тех, кто утверждает, что Мах близок к Марксу.

14) **Стр 31.** Этим об'ясняются оговорки, которые Фейербах всегда делает, когда говорит о материализме. Так, например: „Идя от этой точки назад, я совершенно соглашаюсь с материалистами; идя вперед, я расхожусь с ними“ (Посмертные афоризмы). Что он хотел этим сказать, видно из следующих его слов: „И я признаю и д е ю, но только в области человечества, политики, морали, философии“ (Грюн, т. II, стр. 307). Но откуда является идея в политике и морали? Этот вопрос не решается еще тем, что мы „признаем“ идею.

15) **Стр 32.** Впрочем, и по Фейербаху „человеческое существо“ создается историей. Так он говорил: „Я мыслю только, как суб'ект, воспитанный историей, обобщенный, соединенный с целым, с родом, с духом всемирной истории; мои мысли имеют свое начало и основание не непосредственно в моей особенной суб'ективности, они представляют результаты; их начало и основание есть начало и основание самой всемирной истории“ (К. Грюн, II, стр. 309). Мы, таким образом, находим уже у Фейербаха зачатки материалистического понимания истории. Но он в этом отношении идет не дальше Гегеля (см. нашу статью „К шестидесятилетию смерти Гегеля“ в сборнике „За двадцать лет“), и даже отстает от него. Вместе с Гегелем он подчеркивает значение того, что великий немецкий идеалист называл географической основой всемирной истории. Он говорит: „Ход истории человечества, конечно, предписан ему, ибо человек следует за движением природы, как это видно по направлению вод. — Люди стремятся туда, где они находят место, и место, которое им больше всего пригодно. Люди оседают в известной местности, они определяются местом, в котором они живут. Сущность Индии есть сущность индуса. То что он есть, чем он стал, есть только продукт ост-индского солнца, ост-индского воздуха, ост-индской воды, ост-индских зверей и растений. Каким же образом человек мог первоначально возникнуть не из природы? Люди, которые осваиваются со всякой природой, возникли из природы, не выносящей никаких крайностей“. (Посмертные афоризмы, К. Грюн, том II, стр. 330).

16) **Стр. 34**. См. „Нищету философии", часть вторая, замечания первое и второе. Следует, однако, заметить, что и Фейербах критиковал гегелевскую диалектику с материалистической точки зрения. „Что такое диалектика",—говорит он,—„которая стоит в противоречии с естественным происхождением и развитием? Как обстоит дело с ее „необходимостью?" Где „об'ективность" психологии вообще, философии, которая абстрагируется от единственной категорической и повелительной, основной и прочной об'ективности, об'ективности физической природы—философии, которая полагает, что ее конечная цель, абсолютная и завершение духа заключается как раз в полном удалении от этой природы и абсолютной, не ограниченной никаким фиктевским не—Я, никакой кантовской вещью в себе, суб'ективностью". (К. Грюн. I. 399).

17) **Стр. 36**. При всей постепенности, переход от одной формы движения к другой всегда остается скачком, решающим поворотом. Таков переход от механики небесных тел к механике меньших масс на отдельных небесных телах, также переход от механики масс к механике молекул, охватывающей движения, которые мы исследуем в так-называемой, собственно, физике: теплота, свет, электричество, магнетизм; точно также переход от физики молекул к физике атомов · химии, опять-таки совершается посредством решительного скачка, и еще более это имеет место при переходе от обыкновенного химического действия к химизму белковины, который мы называем жизнью. Затем уже в пределах сферы жизни скачки становятся все реже и незаметнее". (Энгельс, „Анти-Дюринг").

18) **Стр. 36—37**. Плеханов переоценивает значение работ Де-Фриза. Интересно выслушать отзыв одного из крупнейших ботаников XIX столетия и последовательного дарвиниста, покойного Тимирязева, который причисляет работы Де-Фриза к попыткам умалить значение дарвинизма.

„Из них особенно обратило на себя внимание утверждение Де-Фриза, будто ему удалось найти действительный процесс образования новых видов, именно, не путем постепенного изменения под влиянием определенных условий, а скачков, вследствие неизвестной внутренней причины. Но Де-Фриз вполне сознает, что этими скачками невозможно об'яснить приспособления организмов; он сознает, что эту главную их особенность об'ясняет только дарвинизм, и так формулирует свое к нему отношение: *естественный отбор определяет не происхождение видов, а уничтожение видов неприспособленных*. Уже и это различие между двумя теориями невелико, но даже и в этой форме оно вертится на игре слов, на применении слова *вид* в двух совершенно различных смыслах. Когда Дарвин выпустил в свет свою книгу „О происхождении видов", он имел в виду общепринятые „хорошие" виды, в линеевском смысле. Уже после по-

явления его книги французский ботаник Жордан указал на присутствие, в пределах общепринятых видов, более мелких групп, отличающихся тем же постоянством, которое считалось признаком видов. Эти формы так и называются жордановскими видами, а все направление, стремящееся к разбивке старых видовых групп на более мелкие, — жорданизмом. Эти-то новые, неизвестные во время появления книги Дарвина, виды разумеет Де-Фриз в своей формуле. Должен заметить, что самый факт не ускользнул от внимания Дарвина; он указывал на совместное существование разновидностей, очевидно не исчезающих через скрещивание и разделяющих это свойство с видами, т.-е. знал о существовании того, что после Жордана стали называть мелкими видами, что в его время всеми признавалось за разновидности. Де-Фриз, таким образом, называет разновидности Дарвина (и всех его современников) видами в позднейшем, жордановском смысле, откуда у него и выходит, что в силу отбора не образуются новые виды, а уже образовавшиеся, но неприспособленные уничтожаются. Как бы то ни было, для образования настоящих видов Де-Фриз так же, как и Дарвин, не находит другого об'яснения, кроме отбора; он не может обойтись без этого начала, потому что понимает различие между простою изменчивостью и приспособлением. Того же нельзя сказать о Коржинском. Из фанатического дарвиниста он внезапно превратился в от'явленного антидарвиниста и полагал, что ему удалось изобрести какую-то теорию, упраздняющую дарвинизм, тогда как в действительности он только увеличил (соответственно накопившемуся за сорок лет материалу) список примеров внезапных крупных изменений, в изобилии собранных Дарвином, в его двух книгах. Для Коржинского так и осталось непонятным различие между простым изменением и приспособлением, т.-е главное содержание дарвинизма. Должно еще заметить, что попытка Де-Фриза, Коржинскаго и др. ничего принципиально не изменяла и не дополняла в положениях Дарвина даже по частному вопросу об изменчивости. Дарвин также допускал изменчивость резкую, скачками, и более постепенную, общую, и ничто и теперь не принуждает приписывать первой из них не только исключительное, но даже преобладающее значение" (К. Тимирязев, „Основные черты истории развития биологии в XIX столетии", Москва, 1908 г., стр. 94—96).

Кстати. Цитируемый Плехановым Арман Готье, вероятно, назван им вместо Алексиса Жордана. Заслуги Готье, выдающегося химика, относятся к совершенно другой области. Ему принадлежат работы, доказывающие единство органической и неорганической материи. (Д. Рязанов).

19) **Стр. 41.** Наполеон I-й говорит: „Природа оружия определяет состав армии, театр войны, походы, позиции, боевой порядок, устройство крепостей. Все это создает постоянную

противоположность между войнами древних и современных народов". (Очерк войны Цезаря, Париж, 1835, стр. 87-8.)

20) **Стр. 44—45.** Из работ Фридриха Ратцеля (1844—1904) на русском языке имеется „Народоведение", перев. Д. Коропчевского, изд. „Просвещения" 1900. Самой крупной работой, вышедшей после книжки Плеханова, является книга французского географа Бренса, „Человеческая география" (Brunhes, Geographie humaine, 1910 г.). На русском языке имеется обстоятельный „Очерк развития антропогеографических идей", 1908. Л. Синицкого. Среди немецких географов, разрабатывающих вопрос о влиянии географической среды на человека и обратно, наиболее выдающимся является Геттнер. Ему принадлежит также сжатый очерк „Географические условия человеческого хозяйства" в сводном труде „Grundriss der sozialökonomik" (Основания социальной экономики), 1914. На этот очерк опирается в своем изложении т. Бухарин, „Теория исторического материализма". Параграф 30. Природа, как среда для общества, стр. 116—117. (Д. Рязанов).

21) **Стр. 47.** Еще Милль, повторяя слова „одного из величайших мыслителей нашего времени", говорил: „Из всех вульгарных способов уклониться от исследования воздействия, которое оказывают социальные и моральные влияния человеческого духа, самым вульгарным является приписывание различий в поведении и характере, присущим человеку естественным различиям". (Основания политической экономии, I, 390).

22) **Стр. 47.** По вопросу о влиянии экономики на склад общественных отношений, в особенности на право, следует напомнить о работах Н. И. Зибера, не утративших своего значения и до сих пор, тем более, что для читателя, незнакомого с иностранными языками, они дают огромный фактический материал. В первую голову следует назвать его. „Очерки первобытной экономической культуры", 1883, вышедшие новым изданием в 1899, и статьи, собранные под названием „Право и экономия" во втором томе его „Собрания сочинений", Спб. 1900. Из названных Плехановым книг, работа Энгельса существует в нескольких переводах. Переведена также и брошюра Ахелиса („Происхождение права", Киев, 1906). (Д. Рязанов).

23) **Стр. 48.** Людвиг Нуаре (1829—1889), немецкий философ, почти совершенно игнорируемый в цеховых трудах по истории философии, уже в одном из своих первых произведений выступил защитником монизма (Der Monistische Gedanke, 1875), близкого к спинозизму. Он исходит из единства материи и духа. Ему принадлежат две работы: одна, цитируемая Плехановым о „происхождении языка" 1877 и другая, представляющая неменьший интерес „Das Werkzeug und seine Bedeutung für di Geschichte der Menscheit, 1880". (Орудие и его значение для истории развития человечества).

24) **Стр. 51**. Мы позволим себе указать на нашу статью в журнале „Современный мир“ („О так-называемых религиозных исканиях в России“), 1909, сентябрь и ноябрь. Мы исследовали в ней и значение техники для развития религиозных представлений.

25) **Стр. 51**. Из названных Плехановым книг переведены на русский язык Шурц („История первобытной культуры“ в двух изданиях); Тэйлор, Ю. „Первобытная культура“, перевод под ред. Коропчевского, Спб. 1896—97; Гроссе, „Происхождение искусства“, Москва, 1899; Мортилье, „Доисторическая жизнь. „Происхожление и древность человечества“, под ред. Л. Штернберга, 1903; Фробениус, „Детство человечества“, 1910.

Специально вопросу об искусстве, с точки зрения материалистического понимания истории, Плеханов посвятил статью „Об искусстве“, перепечатанную в сборнике „За двадцать лет“, стр. 334—54.

В последние годы вопросом о происхождении искусства с марксистской точки зрения занимались Гаузенштейн (W. Hausenstein, „Die Kunst und die Gesellschaft“, München, 1916) и Лу Мертен, „Wesen und die Veränderung der Künste“ (Сущность и изменение искусства с историко-материалистической точки зрения), 1920. Ср. Бухарин, „Теория исторического материализма“, стр. 215—233.

26) **Стр. 53**. Известно, что некоторые марксисты осенью 1905 г. думали иначе. Они считали возможной в России социалистическую революцию, как будто производительные силы этой страны были уже достаточно развиты для такой революции.

27) **Стр. 63**. Энгельс говорит в своей работе о происхождении семьи, что чистые охотничьи народы существуют только в воображении ученых. Охотничьи племена являются в то же время и „собирателями“. Но, как мы видели, охота оказывает глубочайшее влияние на развитие воззрений и вкуса этих народов.

28) **Стр. 65**. Более подробно Плеханов развил эти мысли в статье „Французская драматическая литература и французская живопись XVIII века с точки зрения социологии (перепечатана в сборнике „За двадцать лет“).

„Сказать, что искусство, — равно как литература, — есть отражение жизни, значит высказать хотя и верную, но все-таки еще очень неопределенную мысль. Чтобы понять, каким образом искусство отражает жизнь, надо понять механизм этой последней. А у цивилизованных народов борьба классов составляет в этом механизме одну из самых важных пружин. И только рассмотрев эту пружину, только приняв во внимание борьбу классов и изучив ее многоразличные перипетии, мы будем в состоянии сколько-нибудь удовлетво-

рительно об'яснить себе „духовную" историю цивилизованного общества; „ход" его „идей" отражает собою историю его классов и их борьбы друг с другом". („За двадцать лет", стр. 323—4).

О причинах успеха живописи Давида см. там же стр. 317—19.

Немецкий историк искусства, В. Гаузенштейн, посвятил несколько работ той же самой теме, которая занимала Плеханова. На русский язык переведена его книга об искусстве XVIII столетия „Искусство Рококо", Москва 1914 г. (Д. Рязанов).

29) **Стр. 78.** В своей полемике против братьев Бауэров, Маркс пишет: „Французское просвещение, а в особенности французский материализм XVIII века, представляет собою не только борьбу против существующей религии и теологии, но также открытую, ясно выраженную борьбу против метафизики XVII столетия, против метафизики Декарта, Мальбранша, Спинозы и Лейбница и в то же время „борьбу против существующих политических учреждений". Теперь это уже всем известно.

30) **Стр. 79.** Эту ссылку на Сисмонди мы находим уже в известной статье Плеханова „Несколько слов в защиту экономического материализма". Открытое письмо к В. Гольцеву (перепечатана в сборнике „За двадцать лет").

По словам Сисмонди, „во Франции при Филиппе V французские романы, которые одни только и читались тогда при дворе и в замках, изменили национальные нравы, показав всему дворянству, к чему оно должно было стремиться, как к совершенству". Литература повлияла на нравы. Но откуда же взялась она? Чем вызвано было существование рыцарских романов? Ясное дело: существование рыцарских романов вызвано было существованием рыцарских нравов". (Д. Рязанов).

31) **Стр. 87.** Уже Спиноза (Этика, III часть, вторая теорема, примечание) сказал, что многие думают, что они поступают свободно, потому что они знают свои дела, но не знают их причин. „Так, ребенок думает, что он свободно хочет молока; рассерженный ребенок, что он хочет мести; трусливый, что он хочет бежать". Ту же самую мысль выразил Дидро, материалистическое учение которого вообще было спинозизмом, освобожденным от теологической оболочки.

31) **Стр. 111.** Каблиц, О. И. (1848—1893), более известный под именем Юзова, был одним из наиболее ярых бакунистов и бунтарей семидесятых годов. „Какими нелепыми доводами защищали „бунты" некоторые из русских бакунистов — пишет Плеханов в статье „О социальной демократии в России" — могла бы показать, ходившая в конце семидесятых годов из

кружка в кружок рукописная брошюра покойного Каблица: „Мысли революционера“. Основное положение ее заключалось в том, что так как ум всегда повинуется чувству, а чувство воспитывается упражнением; так как кроме того бунты воспитывают в народе чувство протеста, то они гораздо скорее, чем пропаганда, подготовят его к социальной революции“. В конце семидесятых годов Каблиц выступил в легальной литературе (в газете „Неделя“) с попыткой теоретического обоснования этих взглядов. Статья его „Ум и чувство, как факторы прогресса“ обратила на себя всеобщее внимание и вызвала ответ Н. К. Михайловского („почтенного социолога“, как его называет Плеханов). Это была полемика между правоверным революционным народничеством и нарождающимся народовольчеством, которая велась в легальной оболочке, с весьма обильными ссылками (особенно у Каблица) на всякие научные авторитеты.

Сам Каблиц скоро превратился в мирного народника, отдавшего предпочтение чувствам и инстинктам крестьянской мысли, и противопоставившего почвенный народ, безпочвенной интеллигенции. Бывший бунтарь очень скоро превратился в реакционного народника чистейшей воды, и несмотря на свое революционное прошлое, благополучно устроился на государственной службе (Д. Рязанов).

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	стр.
I. Предисловие редактора	3— 8
II. Основные вопросы марксизма	11— 94
III. О „скачках“ в природе и истории	97—107
IV. К вопросу о роли личности в истории	111—154
V. Диалектика и логика	157—168
VI. Примечания и дополнения	171—181

КООПЕРАТИВНЫМ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ

„МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ"

ВЫПУЩЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:

К. Маркс и Ф. Энгельс—„Коммунистический Манифест", под редакцией, с предисловием и примечаниями Д. Рязанова.

„Коммунизм и Религия"—Сборник по вопросам антирелигиозной пропаганды.

К. Каутский—„Эрфуртская программа".

А. Богданов.—„Краткий курс экономической науки".

Васильченко и Ставский—„Первый бой". (о ростовской стачке 1902 г.).

Коваленко. „Как писать в рабочую газету".

Сарабьянов—„Исторический материализм" 2-ое издание.

Н. Лозовский—„Верен ли путь?".

Г. Плеханов—„Основные вопросы марксизма".

Ф. Энгельс—„Происхождение семьи, частной собственности и государства".

Сапронов—„Генуэзская конференция" (впечатления рабочего представителя).

Захаров—„Путь к коммунизму" (воспоминания рабочего коммуниста).

М. Криницкий—„Рабы" (пьеса).

О. Борхардт—„Изложение трех томов Капитала" К. Маркса.

П. Лафарг—„Против бога и капитала" (статьи и памфлеты).

Н. Коваленко—„Книжка политграмоты" (4-е испр. и допол. изд.).

Ф. Энгельс—„Антидюринг".

Плеханов—„Предшественники К. Маркса и Ф. Энгельса", (под редакцией и с примечаниями Д. Рязанова).

К. Маркс.—„К критике политической экономии".

Сатурин—„Очерк истории социал-демократии".

А. Богданов—„Красная Заезда".

Ж. Бюрроуз—„Тарзан".

Эволюционный чтец-декламатор.

ЛОРЕВ
ДЕШЕВАЯ КНИГА
Ц. 1 р.